

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Мужик. Максим Горький

I

В провинциальных городах все интеллигентные люди друг друга знают, давно уже выболтались друг пред другом, и, когда в среду их вступает новое лицо, оно вносит с собою вполне естественное оживление. На первых порах ему рады, с ним носятся; более или менее осторожно ощупывают – нет ли в нем чего-либо особенного, при этом иногда немножко царапают его. Затем, если человек легко поддается определению, его определяют каким-нибудь словом, и – дело сделано. Новое лицо входит в круг местных интересов и становится своим человеком, а если местные интересы не охватят его, оно будет скучать от одиночества и, может быть, запьет, сопьется с круга, – никто ему в этом не мешает.

В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная торопливость, – мы всегда спешим определить человека как можно скорее. Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь в одну из наших мерок, мешают нам скорее покончить с определением, человека. И, наверное, часто бывает так, что эти черты, – быть может, очень важные в человеке, готовые развиться в нем до оригинальности, – не развиваются лишь потому, что остаются не замеченными со стороны, и, может быть, человек сам заражается невниманием к ним и борется с их ростом, боясь быть непохожим на людей. Если же эти черты и оттенки особенно выпуклы, они вызывают в обществе даже враждебное, чувство, и тогда к обладателю их начинают относиться так же, как нищие на церковной паперти к своему товарищу, который получил от купчихи семишником больше, чем они.

Полугода не прошло с того дня, как в наш город приехал на службу архитектор Аким Андреевич Шебуев, и уже о нем заговорили, он стал желанным гостем во всех интеллигентных кружках. Он сразу возбудил к себе всеобщий интерес, но в то же время никому не понравился. Суждения о нем были очень разнообразны, но одинаково сдержанны, сухи, и за ними явно чувствовалось нечто нелестное для архитектора: какое-то недоверие и даже враждебность к нему. Он не только не поддавался определению, но чем дальше, тем более замечалось в нем каких-то еретических особенностей. Уже одно то, что он ходил ко всем и никому не отдавал предпочтения, возбуждало неприязненное чувство к нему. В каждом кружке есть своя мораль, свои симпатии и вкусы невидимые, но прочные веревочки, которые, связывая всех членов кружка в одно целое, отграничивают его от других кружков. Было замечено, что Шебуев не хочет связать себя этими веревочками и даже дерзко и насмешливо пытается спутать или порвать их. А это вызвало раздражение против него, но вместе с тем и усиливало интерес к нему.

Он и с внешней стороны сразу привлекал к себе внимание. Это был человек лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, с большой головой на крепкой жилистой шее и несоразмерно длинными руками. Природа, должно быть, очень торопилась создать его и поэтому отделила чрезвычайно небрежно. Лицо у него было грубое, скуластое; широкий лоб слишком выдавался вперед, отчего серые глаза глубоко ввалились в орбиты. Длинный горбатый нос некрасиво загибался к русым усам и вместе с толстой нижней губой, которая казалась пренебрежительно оттопыренной, придавал лицу выражение насмешливое и неприятное. Но его живые, блестящие глаза несколько скрашивали это топорное лицо, а когда он улыбался, оно принимало выражение добродушно-умное, но опять-таки какое-то снисходительное. Говорил он громко и уверенно, сопровождая и подчеркивая речь сильными угловатыми жестами длинных рук, а голос у него был какого-то неопределенного тембра, как будто еще не выработался. И вообще в нем было что-то незаконченное, угловатое. Одевался он в очень дорогие костюмы из каких-то особенно плотных и прочных материй. Сшитые удобно, они отличались явным пренебрежением к моде. То он являлся в длинном сюртуке, застегнутом наглухо вплоть до ворота и похожем на военный мундир, то на его широкой фигуре красовалось какое-то подобие австрийской куртки. И это особенно раздражало некоторых.

– Уж если он действительно оригинал, – говорил наш умный и рассудительный доктор Кропотов, – так зачем же подчеркивать это еще и костюмом? И почему, – раз он хочет привлекать к себе внимание даже и внешностью своей, – почему бы тогда не

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru
одеваться во всё красное или голубое?

Доктор был человек солидный и ужасно любил порядок. Идя по тротуару и увидав камешек на нем, он непременно ловким ударом трости отшвыривал его из-под ноги на мостовую и всегда после этого так оглядывался вокруг себя, точно приглашал всех людей брать с него пример. Все вопросы он давно уже решил, и всё в жизни было для него просто и ясно. Настроение у него было спокойное, внешность внушительная, речь уверенная; он имел в городе большую практику среди купечества, играл в винт по маленькой и искал себе невесту. У него была роскошная русая борода, и во время разговора он всегда поглаживал ее медленным и красивым жестом. Высокого роста, здоровый, он держался прямо.

Шебуев с первых же встреч возмутил его.

- Помилуйте! - даже несколько обиженно говорил он, - ведь это бог знает что! У него всё в голове спутано, перемешано, и он решительно не имеет того, что называется определенным мирозерцанием и для меня имеет значение, так сказать, диплома на звание культурного и, скажу, передового человека. Я, конечно, не буду отрицать его ума, но скажу - это ум грубый, негибкий ум, первобытный, не огранный дисциплиной логики...

У доктора был огромный запас прилагательных, и когда он начинал что-нибудь определять, то как будто кирпичами обкладывал предмет определения. Так как при всех своих достоинствах доктор был еще и либеральный человек, то он считал своим долгом аккуратно посещать субботы Варвары Васильевны Любимовой

Около этой женщины собрались в маленький, тесный кружок, быть может, самые интересные люди в городе, и она пользовалась среди них искренним уважением. По специальности акушерка, она училась еще и за границей, привезла оттуда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе. Устроилось это благодаря ее хорошим отношениям с губернаторшей, у которой она принимала, а также, наверное, благодаря тому, что в ней самой было нечто неотразимое, искренно и глубоко располагавшее всех к ней. Образованная, работящая и скромная она была красива тою здоровой русской красотой, которая теперь встречается уже редко, почему-то отцветая из поколенья в поколенья.

Высокого роста, стройная, с могучей грудью и овальным лицом, с огромной косой каштановых волос, она двигалась плавно, голову держала высоко, и это придавало ее фигуре осанку гордую и смелую... Очень хорош был взгляд ее темно-голубых глаз, красиво оттененных густыми, почти черными бровями. Спокойный, ласкающий и умный, - он как-то сразу вызывал почтительное чувство к этой женщине, возбуждая у каждого желание понравиться ей. Всегда красиво-ласковая, всегда приветливая, она умела как-то особенно улыбаться, - спокойной бодростью духа веяло на человека от этой улыбки. Голос у нее был мягкий, грудной, но она говорила немного, кратко, и в каждом слове ее чувствовалась искренность прямой и несложной души. На вечерах у нее всегда было шумно, и в оживлении гостей ее сдержанность и молчаливость выступали особенно заметно. Была у нее одна странность - она не любила женщин, и у нее не было подруг, кроме Татьяны Николаевны Ляховой.

Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца, а сердце у нее было хорошее, неисчерпаемо доброе и, должно быть, такое же живое, трепетное, испещренное лучистыми морщинами, как и ее милое лицо. Она была вдовой почетного мирового судьи и председателя съезда мировых Матвея Кирилловича Ляхова, умершего от разрыва сердца лет восемь тому назад, в день ареста его единственного сына, только что кончившего университет. Татьяна Николаевна схоронила мужа, проводила сына до Перми и, возвратясь домой, вся ушла в свою школу, и прежде горячо любимую ею. В тот же год помер и сын ее от чахотки. Говорили, что, узнав об его смерти из официальной бумаги, Татьяна Николаевна с испугом подняла кроткие глаза свои к небу и робко, вся вздрагивая, спросила:

- Ну, зачем это?.. За что это?..

А через три дня уже снова взялась за работу. Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело. Была она маленькая, худенькая, нервная; на ее сморщенном, розоватом личике, как две неугасимые лампы, горели славные, по-детски ясные глаза.

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Одетая всегда в одно и то же гладкое черное шерстяное платье, она, как ласточка, изо дня в день мелкими и быстрыми шагами носилась по улицам города, отыскивая уроки для молодежи, посещая захандрившую от усталости или больную учительницу, вечно с книгами под мышкой, вечно озабоченная и живая... Сердце у нее, наверное, не умолкая, ныло от тоски по сыне, но никто не умел и не мог так, как она, ободрять утомившихся и тоскующих людей... Ее все любили, хотя порою и подтрунивали над нею за то, что она называла своей верой. А вера у нее была ясная и наивная, как и сама она.

Каждый раз, когда при ней говорили о неустройстве жизни и искали кратчайший путь к достижению всеобщего довольства на земле, Татьяна Николаевна приходила в нервное возбуждение и, складывая ладошками свои сухонькие, крошечные ручки, говорила умоляющим голосом:

– Ах, господа, всё это не так! Всё это разрешается гораздо проще! Увеличьте количество сознательно живущих, критически мыслящих людей – и все разрешится! Дайте народу образование, и он перестроит жизнь, он сам создаст новые формы жизни, – уверяю вас!

Познакомившись с Шебуевым, она с первой же встречи стала на него обиженно фыркать. Послушает его и вдруг, пресмешно надувши губы, фыркнет, встанет со стула и демонстративно уйдет куда-нибудь в уголок, подальше от него.

– Я удивляюсь вам, господа! – говорила она, волнуясь и вздрагивая, чего вы так носитесь с ним? По-моему, он просто декадент и... ужасный эгоист... и вообще совершенно неинтересный и несимпатичный... ни во что не верующий... противный человек!

Но однажды у Варвары Васильевны между старушкой и доктором вскипел ожесточенный спор о роли интеллигенции. Доктор внушительно говорил ей:

– Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...

– Как будочки на перекрестках, да? Как столбы деревянные, да? кипела, взмахивая ручками, уважаемая Татьяна Николаевна. – Ах, какая живая, какая великая, героическая роль! Да как вам не сты-ьдно, о доктор!

– Но позвольте же, почтенная Татьяна Николаевна, – снисходительно улыбаясь, говорил доктор, – в чем же вы полагаете обязанности интеллигенции, а?

Как раз в разгаре спора пришел Шебуев.

– Вот еще один, вот! – набросилась на него Татьяна Николаевна. – Ну-с, а вы что скажете?

– Я прежде всего скажу – здравствуйте, Татьяна Николаевна, – протягивая ей руку, с добродушной улыбкой сказал Шебуев.

– Ах, это приличия! Ну, хорошо – и будет, достаточно приличий. Нет, вы вот скажите-ка, что такое интеллигенция, да-с... Нуте-ка, скажите!

И она наскакивала па него с таким видом, точно хотела ущипнуть.

– Интеллигенция?.. А это цвет ржи...

Татьяна Николаевна удивленно взглянула на него, на секунду замерла на месте, и вдруг глаза у нее радостно заблестели.

– То есть? То есть? – с живостью вскричала она.

– Видели вы, как рожь цветет?

– Рожь? Как это метко! Как это славно! Какой вы... милый! Нет, право, какой вы умный! А ведь я думала, что вы декадент. Вы меня простите!

– Да вы подождите ликовать! – смеясь, сказала ей Варвара Васильевна. Ведь он не

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru
сказал ничего нового... Всем известно, что интеллигенция – цвет народной массы... А вы спросите-ка его – в чем же роль интеллигенции?

Шебуев повернулся к ней и ответил:

- А вот именно в том, чтоб цвести ныне, и присно, и во веки веков...
- Ну, и это не ново...
- Не ново, – согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...
- А кто же его будет есть, этот хлеб? – спросил доктор.
- Мужик! – кратко и спокойно сказал Шебуев.
- Ну да, конечно! Народ, ну да! – в радостном волнении закричала Татьяна Николаевна. – Ведь я всегда говорила, что он – самое главное, он цель нашей жизни... Ах, Аким Андреевич, как мне приятно понять вас! Как я рада, что вы так верно понимаете всё!

И с этой поры она перестала отличать Шебуева от хороших людей, которых, впрочем, она насчитывала вокруг себя десятками.

Но особенно близко и скоро сошелся с Шебуевым молодой санитарный врач Павел Иванович Малинин. Это был высокий и стройный мужчина с красивыми темными глазами и с острой черной бородкой. Он носил длинные волосы, писал стихи и частенько печатал их в толстых журналах, но относился он к ним как-то небрежно, сам же подсмеивался над ними и сочинял на них пародии. И в стихах его, иногда очень искренних и красивых, и в пародиях па них всегда звучало что-то грустное, какая-то болезненно дребезжавшая нота, Постоянно задумчивый и сосредоточенный, он был как-то странно тих, редко оживлялся, но очень любил говорить о ничтожестве всего земного, о таинственной судьбе человечества, о противоречиях ума и чувства в человеке и о других столь же премудрых вопросах. Голос у него был приятный, мягкий, и порою его лирический пессимизм, изливаясь из груди в грустных баритональных нотах, наводил на людей тоску.

- Будет вам ныть, Павел Иванович! – говорили ему.

Он не обижался и умолкал, с доброй и грустной улыбкой поглядывая на публику. Его очень любили в городе, и, кажется, больше всего он привлекал к себе любовь своей беспощадной искренностью. Мягким, ласковым голосом, с тихой улыбкой в красивых глазах он говорил всем такие вещи и задавал такие вопросы, за которые всякого другого человека возненавидели бы. Но его слушали, конфузились пред ним, смущенно посмеивались и отвечали ему и любили его. Ибо все понимали, что человек этот не судит и не осуждает, а как бы чего-то ищет в людях, ищет с мучительным напряжением ума и чувства.

Он и ввел архитектора в кружок Варвары Васильевны. Оказалось, что он знал Шебуева еще во времена студенчества и что Шебуев вместе с ним слушал медицину, но со второго курса перешел в институт гражданских инженеров. В ту пору он держался в стороне от товарищей и слыл среди них за человека себе на уме. Было известно, что он жил уроками и часто голодал, но за помощью ни к студентам, ни в благотворительные общества не обращался.

- Помню, кто-то говорил мне, что Шебуев – крестьянин, что, кончив учиться в школе, он тихонько от родных убежал в город... Очень бедствовал, но как-то ухитрился подготовиться к экзамену зрелости и наконец попал в университет. Много рассказывали о нем, но я позабыл и спутал всё, хотя помню, что рассказы были крайне любопытные, даже с драматизмом, и производили сильное впечатление, очень лестное для него.

Выслушав рассказ Малинина, доктор начал гладить бороду, что всегда было верным признаком его желания высказаться.

- Господа! Доктор начинает искать в своей бороде мысли! – вскричал Сурков, человек дерзкий, вечно всех задиравший и даже с виду похожий на ерша. Доктор терпеть его не мог и постоянно с ним спорил, но на этот раз он не обратил

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

внимания на выходку Суркова. Видно было, что он глубоко заинтересован рассказом Малинина.

- Я думаю,- начал он,- я думаю, что этот господин-то, что называется карьерист! Вы обратите внимание-человек уходит из университета в институт инженеров... Это характерно - не правда ли? Карьеру доктора, возможность утолять боли и страдания людей, нельзя менять на карьеру инженера, да-с! Скажу больше,- если он действительно мужик, то уж, вероятно, карьерист... Они все, эти наши мужички, очень жадны до денег,- это факт. И это естественно, ибо, по их представлению, деньги - огромная сила, всё нивелирующая, всё покупающая, на всё готовая... Они воспитаны в этом, и я, разумеется, их не виню. Они всю жизнь и всюду видят мощь денег, они не могут не замечать, что человек с деньгами всегда прав... Но и вообще мужик нечто особенное в смысле морального строя... И, скажу, он даже и тогда, когда порядочен, непременно скрывает где-то внутри себя... жадного до денег хитреца... Опять-таки я его не виню. Жадность эта - его природное свойство и внушается ему условиями быта. Он голоден, и потому он жаден...

- Позвольте спросить, доктор,- вежливо обратился к нему Сурков,- ведь вы, кажется, мещанин по происхождению?

- Да, я мещанин... Ну-с, что же дальше?

- Сделав столь ценную характеристику мужика, не можете ли вы набросать нам схему мещанской души, мещанской морали? Конечно, не в тоне исповеди, а так, слегка...

Доктор пренебрежительно посмотрел на него и ответил:

- Вам бы, милостивый государь, должен быть известен тот факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты особенностей своего класса...

- То есть я должен допустить, что рыло свиньи, изучившей, например, философию, может облагородиться до сходства с лицом Диогена? Нет, я это пошутил, я не могу допустить такого перерождения... Но позвольте, мещанин может переродиться, а мужик - нет?

- Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и более острую самокритику... - важно и убедительно внушал доктор.

Споры с Сурковым обыкновенно затягивались до бесконечности,- этот человек умел всех раздражать, как оса. Публика, привыкшая уже к его парадоксам, дерзостям и задору, прекратила его спор с доктором, попросив Малинина сказать его мнение о Шебуеве.

- Я ведь знаю его не больше вас,- уклончиво ответил он.

- Ну, полноте! - сказал доктор.- Определите, как он - нравится вам, не нравится? Что именно говорит за него, что против, на ваш взгляд? Ваше определение очень ценно для всех... вы такой у нас... такой...

Малинин с упреком взглянул на него и убедительно заговорил:

- Я не люблю определять человека... Это значит - обижать его, стискивать сложность его души... Это нехорошо... Впрочем, я могу сказать, что он совершенно не похож на меня, и уже одно это - очень большое достоинство... В нем сила есть...

Разговор о Шебуеве замялся после этих грустных слов. Малинина считали влюбленным в Варвару Васильевну, и его отказ говорить о Шебуеве поняли как проявление возникающей ревности, хотя отношение Малинина к архитектору, казалось бы, не могло допускать такого толкования. Малинин чуть не каждый день виделся с Шебуевым, бывал у него на квартире, ходил с ним гулять и, видимо, искренно привязывался к нему. И Шебуев всегда смотрел на грустного человека более мягко и ласково, чем на других, а в разговоре с ним зачем-то даже понижал голос.

Кроме Малинина и других до сей поры названных лиц, ближайшими членами кружка Варвары Васильевны были еще несколько мужчин. Один из них - Филипп Николаевич

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Хребтов – представлял собою удивительно курьезную фигуру. Длинный, сутулый, с кривыми ногами и страшно изъеденным оспой лицом, он был крайне близорук. Но его золотые очки, очевидно, плохо помогали ему, и он смешно вытягивал голову вперед, что вместе с его изогнутым телом и напряженным взглядом каких-то неподвижных светлых глаз производило чрезвычайно странное впечатление. Казалось, он видит вдали что-то крайне соблазнительное для него, что-то упорно влекущее его к себе и хочет прыгнуть гуда, в эту даль. Весь он был какой-то цепкий, подстерегающий и твердо уверенный в чем-то, известном только ему.

Он учился в университете, но курса не кончил и теперь занимал должность управляющего в местном книжном магазине. По происхождению сын портного, он имел в городе среди ремесленников неисчислимое количество родных и знакомых. То и дело он пировал на свадьбах, именинах, крестинах и даже "просто так" у медников, сапожников, портных. Относился он к этим пирам как к делу в высшей степени серьезному и важному и от приглашений никогда без уважительной причины не отказывался. Он писал своим знакомым разные деловые бумаги, вмешивался в их семейные дела, даже вел в суде и выиграл очень сложный процесс ремесленной управы с городом. Кажется, он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил, влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню. Любил он выпить, но, выпивши, не терял какой-то приличной и скромной уверенности в себе и не становился более разговорчивым, чем был в трезвом виде. Он не любил говорить, и, когда у Варвары Васильевны поднимались споры на отвлеченные темы, Хребтов тихо сидел где-нибудь в сторонке, засунув под стул свои кривые ноги, внимательно слушал, низко наклонившись вперед, и, упираясь в колени руками, всё время быстро шевелил пальцами. Это была его обычная поза, к ней все привыкли – и она не возбуждала недоумения. Но если при нем начинали обсуждать какой-нибудь, хотя бы и незначительный вопрос практической жизни, Хребтов тотчас же цеплялся за него с разных сторон и не отступал уже до той поры, пока дело не являлось перед ним, как очищенное от скорлупы яичко.

К Шебуеву он отнесся на первых порах с большим вниманием и любопытством. Слушая его речи, он еще более нагибался вперед и быстрее шевелил пальцами. Но вскоре ему, очевидно, что-то не понравилось в архитекторе, и это тотчас же все заметили: он перестал слушать Шебуева. Разумеется, его сейчас же спросили – в чем дело.

– Я, может быть, ошибаюсь: я плохой психолог, – тонким, режущим уши голосом заговорил Хребтов. – Мне показалось, что он снисходительно относится ко всем нам, как бы с какой-то высшей точки зрения... Знаете, что-то самодовлеющее звучит в нем. Это мне не нравится... это что же такое! И затем, если это так, если высшая точка зрения, то пусть объяснит... Несомненно, что у него есть своя программа... Но это ведь не резон для того, чтоб... так странно относиться к нам...

– Он – буржуй! – рявкнул своим огромным басом Кирмалов, товарищ Хребтова в его сношениях с ремесленниками, а по специальности архиерейский певчий, сотрудник местной газеты и горчайший пьяница. Это был типичный представитель талантливых и потому несчастных русских людей. В маленьких рассказах из быта певчих и рабочих, которые он печатал в местной газете, всегда было много горячей любви к людям и хотя грубой, но сильно волнующей душу поэзии. Было в них и знание быта и умение схватывать характерные черты... И всегда при чтении этих рассказов с грустью чувствовалось, что автор мог бы сказать больше того, сколько сказал, мог бы лучше сказать и даже до ужаса за людей взволновать душу читателя. Но чего-то не хватало автору...

Человек этот держался неестественно прямо и говорил ревушим басом и имел что-то сходное с фабричной трубой. Во время его речи было даже странно видеть, что из его огромного рта не идет дым. Глаза у него были вдохновенно-безумные, волосы на голове всегда растрепанные, одевался он грязно и небрежно и вообще производил впечатление человека грубого, звероподобного. Но в то же время он тонко чувствовал и прелесть звучного стиха и горькую отраву тоски в заунывной русской песне; он до безумия любил хорошую музыку, глубоко понимал ее красоту и сам удивительно хорошо играл на гуслях. Большую часть своего времени он проводил с рабочими и разными оборванцами в кабаках и трущобах, а когда рассказывал о них, – гнев, скорбь, страстная любовь к людям переливались в его голосе и сверкали в глазах...

А Владимир Ильич Сурков играл в кружке роль дрожжей. Маленький, тонкий

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

человечек, быстрый в движениях, с круглой головкой, на которой коротко остриженные и жесткие волосы стояли щеткой, – он был такой живой, задорный, дерзкий и даже немножко злой. Являлся он со своим острым носом, оседланным пенсне, кидал в публику две-три фразы – и все возбуждались, сердились, набрасывались на него. Он сладко прищуривал свои черные мышинные глазки, задорно поднимал нос кверху и говорил еще что-нибудь раздражающее. Ему, очевидно, ужасно нравилось раздражать людей, и он ради этого положительно не щадил себя. Порою он пресерьезно и даже как будто с искренней горячностью отстаивал прямо-таки дикие и всех возмущавшие парадоксы и выходки.

Так, например, однажды в каком-то городе во время пожара в доме трудолюбия сгорели заживо двадцать четыре старушки. Сурков сейчас же воспользовался этим трагическим фактом и преубедительно начал доказывать, что для общества и государства сжигать стариков и старух чрезвычайно выгодно и что со временем это будет даже законодательным порядком введено в обиход жизни как мера чрезвычайно выгодная. С великолепно сделанной серьезностью на своей бойкой роже он начал высчитывать, сколько затрачивается денег на дело призрения престарелых и сколько пудов можно получить костяного удобрения, если их сжигать без излишних хлопот. Операция выходила, действительно, очень выгодной. Разумеется, его стыдили, упрекали, даже ругали, но все-таки спорили с ним, и каждый раз, когда спор кончался, все чувствовали, что в головах как будто посвежело, как будто с мозга пыль стерли этим нелепым, но всегда острым, а порога даже блестящим спором. Сурков был единственным сыном зажиточного старика-чиновника, умершего, оставив сыну крупное состояние. Он недавно кончил университет, зачислился в помощники к одному из местных присяжных поверенных и – на этом остановился.

Вскоре после того, как он вошел в кружок Любимовой, он откровенно заявил:

– Господа! В городе этом, – я хотел сказать: в этом вместилище идиотов и мошенников, – вы – самые порядочные и интересные люди, всё же остальное просто корм, приготовляемый судьбою для смерти, этой ненасытной свиньи. Но и вы – тоже довольно-таки бесцветные люди, и никаких новых тропинок в жизни вам не проторить, уверяю вас. Вашу жизнь вы будете шагать по старым дорогам, потихоньку, гуськом друг за другом, как слепые...

Доктор обиделся и надулся, Хребтов не обратил на эту выходку никакого внимания, Кирмалов прорычал что-то непонятное, а Варвара Васильевна, которой Сурков сразу очень понравился, взглянула на него с недоумением и хотела что-то сказать, но ее предупредил Малинин.

– Почему так? – тихо спросил он и с напряжением в глазах уставился на Суркова.

– А потому, что вы только усердные и верные... лакеи ваших идей. Вы идете не в ногу с ними, а сзади них... И вы гораздо более вдыхаете пыли от движения идей, чем воздуха, освеженного их движением...

Тут вступился доктор – артиллерия кружка, – и вскоре по всей линии житейских вопросов закипел ожесточенный бой.

Всех ближе Сурков сошелся с Кирмаловым и, очевидно, не столько по симпатии к нему, сколько ради оригинальности. С внешней стороны оба они взаимно друг друга отрицали. Один – грязный, лохматый, неуклюжий, с воспаленными пьянством и обилием невыраженных чувств глазами, другой изящный, с острой и своеобразно красивой мордочкой хорька, надушенный тонкими духами, рисующийся своим умением острословить... Один полуграмотный, другой – пресыщенный книгами, которые он читал на трех языках.

Как ни уклончиво вел себя Шебуев в смысле выражения своих симпатий к представителям местного общества, по скоро все члены кружка Любимовой с удовольствием заметили, что архитектор явно желает познакомиться с ними поближе. Хребтова это несколько обеспокоило.

– Надо бы, знаете, заставить его разговариваться... как вы думаете, господа? Для меня это имеет крупное практическое значение... Ходит человек и ходит... сидит, слушает... А зачем ходит? Что, собственно, его привлекает? Это нужно понять.

– Да, это интересно, – согласился Малинин и вопросительно взглянул на Варвару Васильевну.

- Ну что ж? - сказала она с улыбкой.- Вы вот попросите Владимира Ильича,- он вам его...

- Я вам его расковыряю! - с жаром воскликнул Сурков.

И он выполнил свое обещание с полным и даже блестящим успехом, хотя это удалось ему без особенного труда Он уже и раньше не раз пытался ошарашить Шебуева разными дикими выходками, но архитектор только хохотал, внимательно присматриваясь к нему. Но вот однажды он подсел к Шебуеву, изощрился и начал говорить на интересную тему о вреде для людей умственного развития. Все молчали, ожидая, как отразит Шебуев град парадоксов бойкого юноши. Архитектор тоже сначала молчал и только любезно улыбался, но по лицу его нельзя было сказать, насколько искренна эта любезность, И вдруг, в момент высшего развития вдохновенных нелепостей Суркова, он, ко всеобщему удивлению, пресерьезно и с удовольствием в голосе заявил:

- Я могу во многом согласиться с вами...

- Что-о-о? - недоверчиво воскликнул тот, окидывая публику торжествующим взглядом.- Скорее, Аким Андреевич, возьмите назад ваши слова. Видите эти испытующие взгляды? Ждут объяснений от вас... ага! Вы согласились в чем-то с еретиком...

- Какой ты еретик? - качнув лохматой головой, густо сказал Кирмалов.Ты шут, а не еретик...

- Егор, ты врешь! Я - еретик, если я шут, Все шуты - еретики, ибо все шуты - смелые умом люди, а все такие люди - еретики...

- Ишь завертелся! - уже с удовольствием заметил певчий.

- Вы находитесь среди дворовых люден российского свободомыслия! говорил Сурков Шебуеву, всё разгораясь.- Российское свободомыслие давно уже легло татарским игом на раболепные умы русских людей... И все, здесь присутствующие, закованы в кандалы свободомыслия, сидят в колодках разных измов и сами же оные колодки всё туже стягивают. Это на языке рабов именуется саморазвитием и составляет обычное русского интеллигента занятие, чрезвычайно сладостное ему. Я же представляю здесь преданного холопа истинной свободы ума...

- Это не свобода, а черная немощ,- равнодушно прогудел Кирмалов.

- Хорошо, Егор! В тяжелых и сырых твоих словах всегда есть кровь! Да, верно,- я страдаю припадками противоречия всему существующему... Ну, а по-твоему,- в чем свобода?

- Я, брат, не знаю... Я разве что знаю? Я просто чувствую, что ты не от свободы говоришь... а гак себе... от шалости... со скуки... для озорства... Вот!

- Bravo! - воскликнул Сурков, громко хлопнув ладонями.- Bravo и верно! Ты прав,- ты никогда не узнаешь свободы... ни-ко-гда! И верно, что я со скуки говорю... Но - пошел к чёрту и не перебивай меня...

- А мне можно сказать вам два слова, Владимир Ильич? - попросил Малинин, ласково улыбаясь.

- Вам? Извольте... Я уже давно чувствую, что вы приготовили кривой нож вашего любопытства и желаете с нежной улыбкой пырнуть меня в бок... брр... Но - пожалуйста! - я готов...

- Я, знаете, слушая вас, всегда в душе удивляюсь,- заговорил Малинин, и действительно его глаза ласково улыбались,- зачем вы показываете себя таким... как бы озлобленным, все отрицающим? Совсем нельзя допустить, чтобы вы и в самом деле не имели в себе веры при такой возбуждаемости чувства... Я, знаете, думаю, что у вас уже есть огромная вера во что-то... Но, должно быть, она еще не выяснилась вам, не сожгла еще собой противоречий вашей души... хотя вы ее уже ощутили наверное... Только так я и могу объяснить задор вашего отрицания и все эти ваши, по-видимому, бесцельные шуточки...

Малинин замолчал.

- Ну-с? Дальше... - сказал Сурков, подняв кверху нос и пытливо глядя на Малинина в свое пенсне.

- Больше ничего... Я ведь это для себя заметил...

- Гм... Черт! Однако и на этом спасибо... Возвращаюсь к началу... Вот, Аким Андреевич, посмотрите на этого лучшего из русских поэтов... среди санитарных врачей. Он являет собой прекрасную иллюстрацию к моему утверждению, что умственное развитие вредно для людей... Ум у него микроскопический... извините, Павел Иванович! - я хотел сказать: ум микроскопического устройства.. Человек сей с удивительной отчетливостью видит всевозможные мелочи, совершенно незаметные для других. И он постоянно ищет, рассматривает их, этих невидимых букашек, населяющих душу человека, этих микробов психики... Он никуда не идет, а всё только топчется на одном месте, осматривается по сторонам, щупает почву, как слепой, но шагнуть вперед - не может. Он ослеплен умом; это очень распространенная болезнь у нас - слепота души от зоркости ума... И когда та, которую Павел Иванович со временем полюбит, скажет ему, раскрыв объятия: "Иди ко мне!" - он задумается и спросит ее: "А ты меня щекотать не будешь?" Потому что он, наверное, не выносит щекотки. Ведь вы боитесь щекотки?

- Боюсь,- сказал Малинин сквозь смех.

Смеялись все; бас Кирмалова грохотал и господствовал надо всеми звуками.

- Позвольте! - оживленно воскликнул Шебуев, все время с явно напряженным вниманием слушавший разговор, рассматривая публику.- Не надо больше иллюстраций! Я уже сказал, что в вашей, разумеется, очень парадоксальной мысли, основа все-таки, по-моему, живая и здоровая...

- Шшш! - зашипел Сурков с комическим ужасом на своей круглой рожице. Опять вы соглашаетесь со мной? Поймите же, - о несчастный самоубийца! - что это не принято здесь!

- Не шалите, Владимир Ильич,- серьезно сказала хозяйка.- Это очень важно... Пожалуйста, Аким Андреевич...

Шебуев уселся в кресле поплотнее и с серьезным лицом заговорил, явно стараясь смягчать свой голос и с видимой осторожностью подбирая слова.

- Я согласен с вами,- да, наверное, и все согласятся с тем, что непомерно развитой интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство. Даже больше - часто он подтачивает и самый инстинкт жизни. Развиваясь на почве инстинкта, он питается его соками, и хотя он не чужеродное, а коренится в чувстве бытия, с ним родственно объединен и является необходимо присущим человеку стремлением к самопознанию, однако росту его должно бы полагать некоторую границу, для того, знаете, чтоб он не опережал человека, ибо ведь в основе своей - человек есть инстинкт жизни, воплощенный в известную форму материи... Так вот границу-то чрезмерному росту интеллекта ставить, пожалуй, необходимо... и ставить ее могло бы чувство самосохранения. Но оно почему-то упускает удобный для вмешательства в рост интеллекта момент, и равновесие сил в человеке нарушается; человек опережает самого себя... А знаете, скверно, когда нет в человеке равновесия, когда он внутренне искривлен и сам из себя с болью рвется куда-то... рвется потому, что ум его вступил в напряженное противоречие с чувством...

- Гм...- сказал доктор, снисходительно улыбаясь.- Мысль странная... А если этот рост интеллекта создаст из человека Канта,- что вы скажете?

- Что скажу? А скажу, что Кант был очень жалкий и уродливый человек, ибо он не знал ничего в жизни, кроме своей философии. Но все-таки он Кант, и пускай он жалок, пускай он только жертва нам, нашему стремлению познать тайны бытия... Пускай он всю жизнь думал и, быть может, никогда не чувствовал, что он живет. Его несчастье полезно для нас, оно - наша гордость и слава. И, разумеется, для общей пользы жизни нужны такие люди, что не мешает мне считать их уродами. Нужно быть именно Спинозой, а не человеком, чтобы наслаждаться созерцанием пауков, пожирающих друг друга, и не пожелать иного наслаждения. Таких... мудрецов я не

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

сочту людьми: не могу! Я буду изумляться силе их мысли и даже преклонюсь пред этой силой, но односторонне развитой человек – не идеал человека. Канты и Спинозы – только огромные головы, Бетховены – только изумительно развитые уши и пальцы. А жизнь хочет гармоничного человека, человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный и, одна другую оттеняя, всегда, все и всегда, гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия. Нужен человек не только умный, но и добрый, не только всё понимающий, но и всё чувствующий.

– Не поместить ли в газетах объявление: нужен человек и прочее вашими словами? – не утерпев, сказал Сурков и тотчас же понял, что это у него вышло неуместно и глупо.

– Человек должен быть всестороннен, – мельком взглянув на остряка, продолжал Шебуев, – и лишь тогда он будет жизнеспособен и жизнедеятелен, то есть будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия сообразно росту своего "я"...

Все с напряженным вниманием слушали уверенную речь Шебуева, говоря, он некрасиво взмахивал руками, и голос его то поднимался до высоких резких нот, то падал глухими ударами, так что казалось, будто архитектор рубит что-то.

В безумных глазах Кирмалова, неподвижно смотревших на Шебуева, сверкало какое-то мрачное чувство. Сурков прищурился и, остро улыбаясь, нервным движением руки гладил свои щетинистые волосы. Хребтов, сидя в углу на стуле, весь изогнулся, наклонился вперед и подставил ухо, как бы ловя речь архитектора. На лице доктора выражалось высокомерное пренебрежение, а Малинин грустно смотрел в лицо Варвары Васильевны. Она, облокотясь на стол и наклонив голову, с напряжением всматривалась в лицо Шебуева, быстро изменявшее выражения. Архитектор говорил, обращаясь то к одному, то к другому, и по глазам его было видно, что он зорко следит за впечатлением.

– Так вот, господа, признаем чудовищное развитие интеллекта необходимым для исключительных людей, преклонимся пред ними, если это нужно нам, – им не нужно, я думаю, – и от души пожалею их... И посмотрим теперь на себя, на то, что мы же назвали "интеллигенция". Нас, как известно, обвиняют в пассивности, в дряблости, говорят, что мы – люди слова и мысли, а не дела, что наше влияние на жизнь ничтожно и вообще мы – негодный материал для построения новой жизни на земле. Надо думать, что всё это правда; уже по тому одному правда, что ведь это наши судят нас, это ведь самоосуждение горячее, искреннее, порою злое и желчное, но всегда правдивое. Я говорю всегда правдивое, да! Мы все действительно люди – извините за выражение! жалкие и несчастные. Нас так много!.. Нас очень много, господа! И по количеству мы – давно уже сила. У нас много желаний, хороших и честных... затем у нас потоки речей и – ни крупички дела! Ну, пожалуй, крупички есть... Все эти журналы, романы, статьи, – вот крупички... именно крупички, не более... Одни из нас пишут, другие читают, прочитав – спорят, поспорив забывают прочитанное... а воз наших идеалов и ныне там, если не подвинулся назад. Рак берет засилие, в то время как щука делает себе карьеру, а лебедь с поломанными крыльями сидит, где приказано, и поет лебединую песню... не особенно трогательно и звучно поет, говоря по совести... Все мы точно с похмелья, хотя никакого пирра не пировали... Вкуса к жизни у нас нет. Что для нас жизнь? Пир? Нет. Труд? Нет. Битва? О нет!.. Жизнь для нас что-то скучное, тягучее, серое, какая-то обуза. Мы несем ее, вздыхая от усталости и жалуясь на тяжесть ноши. Любим ли мы жить? Любовь к жизни?.. Ведь это даже звучит совершенно чуждо нашему уху. Мы любим читать, спорить, мы любим наши мечты о будущем... впрочем, платонической любовью любим их, бесплодной любовью...

– Батюшка! – воскликнул Сурков. – Да ведь это какая-то зауспокойная литургия! Мы такого разговора не можем долго терпеть.

– Нет, уж потерпите! – с улыбкой, но настойчиво сказал Шебуев. – Жизнь – этот прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанного творчества новых форм, процесс таинственный, глубоко интересный и радостный, да! радостный! – жизнь мы не любим. Любим мы какую-то частность, что-то выдуманное нами... только не идеал новой жизни! Любовь к идеалу – чувство деятельное и страстно склонное к жертве... Даже женщин, любить которых нас так упорно заставлял инстинкт, – мы и женщин не любим. Нечем! Нет чувства! Отсохло у нас сердце в мудрствованиях лукавых! Женщина для нас – физиологическая необходимость

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

и – только, а нравственно, эстетически она нам уже не нужна. Возьмите, для примера, наши семьи... Чувство наше покрылось книжной пылью, изъедено молью довольно пошленьких сомнений, которыми мы еще и рисуемся... Послушайте наших поэтов и писателей... Личный опыт каждого из нас поразительно ничтожен. Ведь мы жизни не знаем, – с детства учимся грамоте лет по десяти кряду, а потом живем в углах на содержании своего воображения. Кормимся мы больше литературой, а здоровую пищу непосредственного впечатления наш мозг отказывается переваривать. Когда жизнь насмешливо бросает нам в лицо одним из своих бесчисленных противоречий, мы тотчас беремся за книгу, чтоб посмотреть – а что там по этому поводу написано? И только... Да, мы питаемся по преимуществу книгой и слишком развили наш ум в ущерб здоровью чувства... Мы все – умны и всё умнеем... Вместе с тем мы становимся всё пассивнее и впечатления бытия вызывают у нас не звучный и здоровый отзвук, а какой-то болезненный дребезг души... Очень мы жалкие люди, господа!..

Шебуев оглядел всех с неопределенной улыбкой в глазах и, качнув головой, замолк. И публика молчала, немного подавленная его длинной речью. Все сидели неподвижно, лишь Сурков вертелся на стуле, вопросительно и злорадно поглядывая то на одного, то на другого. Первым пришел в себя доктор.

Осанисто погладив бороду, он поправился в кресле, тихонько кашлянул, как бы приглашая всех обратить на него внимание, и заговорил:

– Отдавая должное убежденности и, так сказать, вескости чувства, вложенного вами в вашу речь... я, однако, должен заявить вам, что всё это и речь и чувство – субъективно. Нападки на интеллигенцию раздаются давно и впредь будут раздаваться... И я не против этого, о нет! Конечно самокритика, самоанализ и, так сказать, са-мо-по-ве-рка – это необходимо. Но, скажу, не слишком ли много самокритики? И я решительно не могу согласиться с вашим объяснением причины пассивности нашей... Я даже отрицаю пассивность. Вы слишком мрачно набросали всё это и – извините! поверхностно, утрированно... Ведь надо согласиться – мы все-таки работаем. Кто дает тон и направление в земстве? Мы, – вы этого не станете отрицать. Журналистика – уже сплошь дело интеллигенции. Воскресные школы, масса просветительных обществ... Да мало ли мы можем насчитать заслуг за собой? А та непоколебимая оппозиция консервативным влияниям, которую мы так стойко выдерживаем? В одном я могу согласиться с вами – нас действительно много, и мы – сила, это факт! Мы всё растем и зреем... Вы забыли упомянуть о том, что существуют серьезные внешние преграды, задерживающие наш рост. Это очень важно и многое объясняет... Ну-с, а исходная ваша точка зрения она... парадоксальна, согласитесь. Это уж нечто во вкусе Владимира Ильича, который, наверное, внутренне блаженствует теперь, хотя и не показывает нам этого...

– Не пытайтесь читать в сердцах, доктор, и продолжайте плести ваше возражение, – сказал Сурков, покручивая свои маленькие усы.

– Я кончил... – объявил доктор.

Шебуев наклонил голову и хотел что-то сказать, но в это время заговорил Малинин.

– Меня не столько занимает ваша основная мысль, Аким Андреевич, сколько процесс ее образования. Как, под какими влияниями создалась эта мысль? Мне она представляется рожденной отчаянием...

– Вот те раз! – воскликнул Сурков с удивлением.

Было видно, что и Шебуев удивился, но он промолчал, подвинулся к Малинину, и на лице его выразилась любезная готовность слушать.

– Мне кажется – придти к убеждению, что рост интеллекта уродует людей, мог только человек, отчаявшийся в благотворной силе мысли, в творческой способности ума. Ваше убеждение – упадочное, декадентское. Я думаю, что декадентство – это отчаяние людей, сбитых с толку противоречиями жизни. Ваша мысль как бы кричит – назад! А зов назад – зов испуга, зов отчаяния...

– Позвольте! – спокойно сказал Шебуев, как бы щупая глазами Малинина, ведь я говорил о чрезмерном развитии интеллекта, я указывал, что его перевес над чувством роковым образом обессиливает человека. Человеком двигают желания, а не логика. Если же будет развиваться только мысль, как возможен цельный,

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru
гармоничный человек?

В это время раздался угрюмый и как будто озлобленный бас кирмалова:

- Никакой гармонии в человеке никогда не будет! И не надо гармонии! Вот!

Он часто заключал свою речь восклицанием "вот!" и произносил его как-то странно, одним звуком - "от", причем "о" казалось каким-то огромным, а "т" было почти не слышно. И звучало это восклицание так, точно его из груди кирмалова вышибал какой-то тяжелый невидимый удар.

- Гармония - выдумка! Как можно, чтобы гармония, когда миллионы почти звери? Сначала очеловечим миллионы, потом гармония, коли нужно... Но - не будет гармонии! Не надо! Надо не равновесие, а чтобы всё кипело... Чтобы человек всегда носил в себе огонь. Где же огонь, если равновесие. Надо гореть, чтобы всем стало светло... Вот!

Он сурово оглядел всех и вместе со стулом шумно подвинулся куда-то а сторону. Ему не ответили: на его речи мало обращали внимания, - один Сурков поощрял их. Теперь же только доктор поморщился и пробормотал вполголоса:

- Терпеть не могу ничего истерического!

А Шебуев бросил вслед ему мягкий, сочувствующий взгляд и снова обратился к Малинину, взмахнув руками и ударив ими по своим коленям:

- Отчаяние, говорите вы? Это не моя специальность. Мне только тридцать два года, я здоров, умею работать... Позвольте мне сделать попытку к выяснению моего делового взгляда на жизнь.

Хребтов встал со стула, бесшумно подошел поближе к архитектору и встал около него, облокотясь на кресло, в котором сидел Владимир Ильич.

- Я думаю вот что: всем нам пора уже понять, что наше время - время крупных практических дел, требующих не только энергии ума, но и напряжения и выносливости чувства. Мне кажется, что мы уже достаточно долго соображали о том, что делать, и дожили наконец до поры, когда нужно всё делать. Кто но что горазд... Нужно и должно пустить в обращение накопленный нами духовный капитал...

- Совершенно верно! - спокойно сказал Хребтов своим "гонким голосом, Теперь возникает вопрос о методе... о приемах...

- А ведь вы, кажется, радикал или что-то в этом духе? - воскликнул Сурков и посмотрел на архитектора подозрительно и с разочарованием.

- Я кличек не боюсь. Зовите как хотите... но послушайте!

- С удовольствием! У вас есть свой запах...

- Это комплимент?

- Пожалуй...

- Спасибо! Так вот, господа, мы живем колониями, сектами и ни сами дальше дома единомышленника не ходим, ни к себе еретика не зовем. Это происходит, кажется мне, потому, что мы оценили самих себя немножко выше, чем стоим на самом деле, и развили в себе некоторую брезгливость по отношению к людям, которые думают иначе, чем мы. Это - аристократизм нашего ума... вредный нарост! В нем есть что-то подозрительное для меня, и, не скрою, порой мне кажется, что это - просто боязнь жизни Мы как будто сомневаемся в силе и остроте нашего оружия, в ученье владеть им... Нам чуть ли не боязно, что то, во что мы верим, столкнувшись с жизнью, разобьется о твердыни невежества и предрассудков...

- Сколько я понимаю - дело идет о так называемом обывателе? - с усмешкой сказал доктор, - И, кажется, вы желаете, чтоб я пошел к нему, пил с ним водку, играл в карты и между всем этим очищал его душу от вековой копоты предрассудков и так далее?

- Доктор играет в карты с людьми только такой же высоты ума и духа, как он сам. Водку не пьет, а пьет вино...- внушительно пояснил Сурков Шебуеву.

- Нет, господа! - воскликнул архитектор, вставая со стула и энергически тряхнув головой.- Жить должно, жить можно, и можно очень хорошо, богато и весело жить. Я уверен, что даже деревья, когда они растут, то ощущают наслаждение процессом роста; мы же, люди,- и люди хорошие, честные, умные,- мы не чувствуем удовольствия жить! В этом есть что-то непонятное, невозможное, это что-то выдуманное, неестественное для живого существа... Для человека - жизнь прекрасна! Для существа, одаренного сознанием, всегда есть что почерпнуть из бурного потока жизни...

В горле Шебуева что-то клокотало, его неуклюжая фигура смело выпрямилась и хотя не стала от этого красивее, но приобрела что-то выразительное и оригинальное. Широкий и какой-то четырехугольный, он стал странно похож на те большие мраморные камни, которые ставят над могилами. Но глаза его сверкали ярко, и в них была та обаятельная искренность, которая придает красоту и уроду.

- Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы! Даже в ее мрачном есть благородное и красивое. Среди ее язв есть благородные раны, полученные в битвах за права людей, за расширение для них пути к свету и свободе! Среди ее стонов звучат благородные проклятия побежденных героев, звучат и призывают к мести! В потоке слез есть и слезы радости... В ней не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем - есть сила создать то, чего нет в ней! Этой силы мало сегодня,- она разовьется завтра! Жизнь прекрасна, жизнь - величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости. Я верю в это, я не могу не верить в это! Я прошел тяжелый путь... никто из вас и даже все вы вместе не знали столько горя, страданий и унижений, как я знал! О да, я - знал! С меня живьем сдирали кожу, да, сдирали! Мне грубыми руками раскрывали сердце и плевали в него плевками пошлого издеательства надо мной... Меня однажды били пучком сосновой лучины по спине, и доктор в больнице вынул из моего мяса сорок семь заноз... Но - жизнь прекрасна!

При словах его о занозах на бледном от волнения лице Варвары Васильевны выразился ужас, и она протянула к нему руку. Но он не заметил ее движения, охваченный страстным возбуждением.

- Когда мне было лет пятнадцать, хозяин мой, безграмотный мужик и пьяница, призывал меня и заставлял рассказывать ему о том, как земля вертится вокруг солнца. Я гордился в ту пору своими знаниями: ничего лучшего, чем они, не было в жизни моей. И, рассказывая о земле, я увлекался до восторга, до забвения, кто я и где. Но в момент наивысшего моего увлечения хозяин грубо и насмешливо прерывал мой рассказ и посылал меня кормить свиней. Их было семь; они сидели в темном хлеве, они были огромные, прожорливые и страшно злые от темноты. Они бросались на меня, заслышав запах корма, сбивали меня с ног и давили своими тяжелыми тушами. Я падал в грязь хлева и чуть не захлебнулся однажды в ней...

- Будет! О, пожалуйста, будет! - громко вскричала Варвара Васильевна.

- Не бойтесь! Не кричите! Жизнь - все-таки прекрасна! Ведь я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек - еще полуживотное, где вся жизнь - только труд ради хлеба. Там она льется медленно, темным, густым потоком, но и там сверкают на солнце неоценимые алмазы великодушия, ума, героизма, и там есть любовь, и там красота - всюду, где есть человек, есть и хорошее! В крупицах, в малых зернах, да! но - есть! И зерна не гибнут все: они растут и расцветают, и дадут плод своей жизни, о, дадут! Дадут! Поверьте мне, что человек всюду носит в себе бога, и, где бы и чем бы он ни был, он останется человеком и есть лучшее на земле! Право мое верить так и дорогого купил, да - но зато я имею это право на мою жизнь! И в этом праве другое я имею - право требовать, чтоб и вы верили так же, как я, ибо я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня к вам для свидетельства о страданиях их! Они тоже хотят вверх - к самосознанию, к свету, свободе!..

В конце речи его голос звучал громко, как рев большого животного, раздраженного голодом или болью, Глаза сверкали возбужденно, даже как бы гневно, и было в их блеске что-то жестокое. Когда его слова оборвались, он глубоко вздохнул и,

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

дотронувшись рукой до головы, грузно опустился на стул. Прошла минута молчания, все сидели неподвижно, и даже Сурков замер в созерцании изящно обточенных ногтей на своих пальцах.

- Здорово! - вскакивая на ноги, вдруг рявкнул Кирмалов таким голосом, точно у него в груди что-то разорвалось.- Верно! Свято! Я знаю, я тоже проходил сквозь свинство... я тоже все видел! Но у меня порвалась струна жизни, и я дребезжу. Я - дурак! Я сказал про вас - буржуй, да... Это мне стыдно... Простите! Я всё понял теперь... хоть и болван... Вот!

- Я очень, очень рад, что вижу вас таким... - серьезно и искренно сказал Шебуев, улыбаясь ему своей хорошей улыбкой.

- Да-а! - заговорил доктор с непонятным недоумением в голосе и на лице.- Все, что вы сказали нам,- сказано сильно, веско... хотя и субъективно... И, разумеется, непосредственный опыт, как базис мирозерцания, прочнее теории... глубже залегает в душу... Но, скажу, ограничиваться им, подвергая остракизму теории... было бы односторонностью... Главной силой сказанного вами, сколько я понимаю, является это бодрое настроение, этот, столь редкий в наше время, оптимизм...

- О, я не оптимист! - быстро воскликнул Шебуев,

- Нет? Но позвольте,- как же мы назовем ваше настроение? Жизнь прекрасна, говорите вы... На мой взгляд, такое утверждение является характерным симптомом оптимизма...

- Доктору необходимо поставить диагноз вашей болезни,- заявил Сурков необычным для него грубым голосом.- Определив ее как оптимистический взгляд на людей, он, наверное, пропишет вам близкое знакомство с ним, доктором, и... и вы скоро выздоровеете, Аким Андреевич!

- Ваши дерзости, милейший Владимир Ильич, не могут задеть меня, как и ваше остроумие не доставляет мне удовольствия.

- О доктор! Не говорите так протяжно, такими длинными фразами... Слушаешь вас, и кажется, что душа ваша куда-то ползет из вас...

- Господа! - строго и спокойно воскликнула Варвара Васильевна, вставая со стула и опираясь руками на стол. Лицо у нее было взволнованное, глаза расширены, и дышала она прерывисто.- Я прошу вас прекратить эти неуместные - извините! - даже неприличные остроты и дерзости. Я думаю, что Аким Андреевич сказал больше того, сколько вы заметили в его словах... Вы обижаете его... и меня... и еще вот их, людей, которые относятся к жизни серьезнее вас...

Она указала жестом руки на Хребтова, который сидел, медленно потирая руки и с таким видом, как будто он припоминал что-то, на Кирмалова, угрюмо и с раздражением смотревшего в лицо доктора, и на Малинина, который, облокотясь на стол рядом с ней, крепко сжал руками голову и, казалось, не слышал ничего.

- В словах Акима Андреевича было нечто и для вас, Владимир Ильич...

- Для меня? - сощурив глаза, воскликнул Сурков, нимало не смущенный выговором.- Нового для меня было немного... но, поверьте, Аким Андреевич, я слушал вас с искренним наслаждением. Если ваш голос и не крик жизни, то это все-таки жизненный голос! Я даже готов уважать вас... право! Говорю готов, потому что не уважаю людей... На это у меня есть причины и, быть может, одной из них является то, что я всю жизнь вертелся в кругу людей бесцветных, дряблых, безличных, людей интеллигентных, как вы выругались. А новым для меня были занозы Сорок семь заноз в спину, но жизнь все-таки прекрасна!.. В этом есть что-то фанатическое... Тут звучит восторг раба-христианина, который горит, облитый смолой, и уже ноги у него обуглились, но уста все поют хвалу богу... Это - хорошо! Это - сильно и хотя старо, а свежо! Господа! - задорно оглядывая всех черными глазками, звонко крикнул Сурков.- Я от всей души желаю вам по сорок семь сосновых заноз в спины. Доктор! Сообщите в "Новости терапии" рецепт для возбуждения жизни - сосновые занозы в спину по одному разу в неделю

- Опять спрыгнул! - угрюмо сказал Кирмалов и безнадежно махнул рукой,

- Это слишком часто! - смеясь, сказал Шебуев.

Он смотрел на юношу, как большая, спокойная собака-волкодав на разыгравшегося котенка.

- Ваши шутки утомляют, Сурков! - с гримасой усталости на бледном лице заговорил Малинин. Он был как-то подавлен и болезненно раздражен.- Неужели вы не чувствуете, что здесь сейчас прочитали всем нам отходную.

Шебуев с доброй улыбкой, дрожавшей на его губах, обернулся к Малинину, но в это время в комнате раздался тихий насмешливый свист.

Свистнул, конечно, Сурков. Он свистнул, кивком головы сбросил с носа пенсне, ловко поймал его в воздухе и сказал:

- Вы уже струсили, бедненький? О, успокойтесь! Быть может, вся эта громкая музыка играла только сбор на охоту, а не призыв к атаке.

И тотчас же, вздрогнув, он осекся и даже побледнел.

Несколько секунд все молчали, сразу почувствовав, что произошла крупная неловкость, сказано что-то двусмысленное и грубое. И все не смотрели на Шебуева. А он, спокойно улыбаясь, следил, как Сурков, стоя среди комнаты и смущенно посмеиваясь, ежился, точно от холода.

- Что вы хотели сказать? - тревожно прозвучал резкий голос Хребтова.

Варвара Васильевна искоса, виноватыми глазами взглянула на Шебуева и, должно быть, ободренная его спокойствием, попробовала рассеять неловкое настроение, охватившее всех.

- Ну, что же, Владимир Ильич? Сознаться, что острота вышла неудачной, и - мы вас великодушно помилуем...

Тут вмешался доктор.

- Владимир Ильич, кажется, заврался в своих шуточках. Это случается с остроумцами...

Но Шебуев, заметив смущение Варвары Васильевны, прервал его речь.

- Ба,- сказал он, усмехаясь,- кажется, словам... Владимира Ильича все придали какое-то... особенное значение?

Перед тем, как назвать имя Суркова, он на секунду замолчал, глаза его блеснули, и всем показалось, что вот сейчас он нанесет оскорбление Суркову. Но он только улыбнулся и продолжал:

- Вы смутили его, господа... и напрасно. Из его слов можно сделать лишь один вывод - он умный человек, Он выразил недоверие ко мне... это естественно... Для всех вас я - таинственный незнакомец. Владимир Ильич, мне кажется, только это и хотел сказать...

- Благодарю вас, благородный рыцарь! - низко кланяясь Шебуеву, сказал Сурков,- быть может, он хотел поклоном скрыть свое покрасневшее лицо Благодарю вас! Отныне моя жизнь принадлежит вам. Не приди вы ко мне на помощь - сии антропофаги, сиречь человекоядцы, сожрали бы меня с костями... Благодарю вас!

- Не стоит... Сосчитаемся... Узнав друг друга поближе...

- О, да! И отныне это цель моей жизни...

- Владимир Ильич! - с досадой и гневом воскликнула хозяйка.- Вы сегодня просто невозможны! Что с вами?

Он живо повернулся к ней, но в это время раздался тихий, прерывающийся от волнения голос Малинина:

- Во всем, что вы сказали, Аким Андреевич... самое главное то, что вы... выставили себя посланником... представителем от тех... от несчастных... со дна жизни... Какая роль! Ведь это святая, героическая роль! Это ужасно высоко... невероятно трудно... Меня поразила... до глубины души потрясла ваша... смелость... Я хотел даже сказать - дерзость... Прийти оттуда, от тысяч живых, погибающих во мраке людей... взойти на верх жизни и сказать о чувствах, думах, желаниях этих людей... и потрясти сердца до ужаса, до отчаяния, которое перерождается в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь им. Ведь для этого нужно иметь язык пророка Исаии... Ведь это... чрезмерно для человека! Оттуда приходили... много! Некоторые владели пером, они рассказывали, и - что же? Ведь вот здесь, кроме вас, есть люди оттуда - но что же? Все больше и больше людей поднимается оттуда... Они приводят сюда... но не расширяют пути для тех, которые остались там... не могут почему-то подать им руку помощи...

- Ну, как это? - сказал Хребтов, точно ворона каркнула. И вслед за ним прогудел бас Кирмалова:

- Руки коротки...

Все смотрели на Шебуева, ожидая, что он скажет.

- Вы меня удивили, - начал он с недоумением и пожимая плечами и как-то сострадательно глядя на Малинина. - Я не вижу в своей задаче ничего героического... и на роль пророка уж никак не могу претендовать... Должно быть, я говорил очень неясно и сбивчиво... если вы сделали такой вывод. Ведь я, в сущности, не сказал нового ни слова. Что я сказал? Не надо забывать тех, что остались сзади нас, тем более не надо, что мы сами только что явились оттуда. Вы отметьте - мы сами оттуда, - это очень важно! Нам не из сострадания, не из высших соображений, а из простого расчета не следует забывать о товарищах наших, живущих в грязи в то время, как мы попали на лоно культуры. Нас, демократов по крови, еще не так много для того, чтобы нам не заботиться о судьбе наших товарищей. Забыв о них, мы рискуем услышать их упреки: ведь нас помнят, и мы каждый день можем встретиться с друзьями детства на улице. И встречаемся. Я встречался не раз. Однажды еду на извозчике, а он вдруг оборачивается ко мне и говорит: "Богат стал, Яким, - не узнаешь товарища... Забыл, как мы с тобой пескарей ловили?" Н-да... нечто вроде голоса с того света. И, знаете, неловко как-то чувствуешь себя после такой встречи... Очень неловко... Он помолчал, зачем-то крепко потер ладонью свой бритый подбородок и снова заговорил, наклонив голову и глядя в пол:

- Я думаю вот что. Был у нас интеллигент-дворянин. Он на своих плечах внес на родину культуру Запада, создал огромные, вечные ценности и все-таки отцвел, не окупив, может быть, и половины тех затрат, которые употребила страна на то, чтобы взрастить его... На смену ему явился интеллигент-разночинец. Этот дешево стоил стране: он яви-лея в жизнь ее как-то сразу и своей огромной силой поднял страшный груз. Он надорвался в труде и ныне тоже отцветает... Может быть, он возродится? Не знаю... не охотник я до гаданий... Вижу - он отцветает. Это ведь про него я говорил давеча. Думается мне, что дворянин и разночинец потому так скоро... устали жить, что одиноки были. Родни в жизни у них не было, работали они для человечества и народа, а это - величины мало реальные, неосязательные... На смену ему идет мужик, рабочий-интеллигент, и в то же время растет буржуа купец-интеллигент... Посмотрим, что сделает мужик... Но первая его задача расширять дорогу к свету для своего брата-мужика - для брата по крови, оставшегося внизу и назади... Свой брат - это уж реальность... Вот и всё... Простите - я, кажется, утомил вас, господа...

Он стал озабоченно серьезен и как-то сух со всеми. Скоро он простился и ушел. С ним ушел и доктор. Оставшиеся у Варвары Васильевны с жаром принялись говорить о Шебуеве. Сначала Варвара Васильевна сердито и с упреком стала читать нотацию Суркову за его нелепое поведение,

- В какое дикое положение поставили вы всех нас вашей... дерзкой выходкой! Человек новый...

- Ох, это не новый человек! - вскричал Сурков. - Клянусь вам - это старый человек! Он, несомненно, родня Соломину - Штольцу и другим положительным людям...

- Не то! - сказал Малинин.- Нет, в нем есть свое, оригинальное...

- Не может этого быть! - кричал Сурков.- В России оригинальные люди от женщин не рождаются,- их выдумывают литераторы...

- Вы по обыкновению шутите,- заговорил Хребтов, потирая руки,- а человек этот заслуживает серьезного внимания. Он - деловой человек, вот увидите...

- Деловой? О, да! Этого не отвергаю... Он - несомненно деловой человек... И я согласен - в нем что-то есть, но я думаю, что это что-то не новое, а старое... быть может, только одетое по моде. Посмотрим!.. Я буду следить за каждым его шагом... А не замечаете ли вы, что он похож на тощую фараонову корову?

- фараоновых коров я не видал,- загудел Кирмалов,- а глаза у этого господина мне не того... не по душе... Господин - интересный... когда он говорит - я ничего... даже уважаю... А ткнет он глазами - уважение вон, и становится мне... не по себе как-то.

- И мне что-то не нравится в нем... Но я его... кажется, даже люблю...- задумчиво сказал Малинин и обратился к Варваре Васильевне; - Вам нравится?

- Да,- ответила она, не взглянув на него.

Он улыбнулся и замолчал.

Сурков стал прощаться, извиняясь за свое поведение пред хозяйкой.

- Владычица сердца моего! Не судите меня строго... Ваши укоризненные взгляды вонзаются мне в душу сосновыми занозами...

- Будете вы когда-либо серьезным человеком? - с улыбкой спросила его она.

- я? никогда! - с жаром вскричал Сурков и ушел.

За ним ушли и Хребтов с Кирмаловым.

Оставшись одна с Павлом Ивановичем, она ласково, как мать на дитя, посмотрела на него и сказала:

- Ну, и вам пора...

- Уже?

- Пора, голубчик...

- Вы устали?

- Очень...

- Хорошо, я уйду...

Не глядя в лицо ей, он пожал ее руку и вышел, странно наклонив голову, как-то сгорбившись... А она, стол среди комнаты, посмотрела вслед ему, озабоченно нахмутив брови, и тихонько вздохнула...

С этого дня Сурков действительно стал следить за каждым шагом архитектора. Он знал всех в городе, всюду бывал, и это очень облегчало ему его капризную задачу. Являясь к Варваре Васильевне, он последовательно, со странной тщательностью и совершенно серьезно излагал день за днем всю жизнь Шебуева. Рассказывал, у кого бывает архитектор, о чем говорит и какое производит впечатление. Из его рассказов было можно сделать такой вывод: Шебуев быстро завоевывает определенное положение в местном обществе купцов и деловых людей и приобретает среди них репутацию умного, знающего человека.

Рассказывая, Сурков хвастался своей способностью шпионить.

- Напрактикуюсь,- говорил он,- отшлифую свой талант и тогда предложу себя на

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru
службу в подлежащее ведомство...

Но в скором времени Сурков заметил, что доктор, ни на минуту не утрачивая свойственной ему солидности, начинает корректировать и даже дополнять его сведения.

- Ба! - не преминул воскликнуть дерзкий юноша.- Однако не я один склонен к сыску... Должно быть, верно говорят, что в России много талантливых людей... но жаль, что они всегда кому-нибудь подражают...

Доктор сконфузился, потом обиделся, сказал несколько очень длинных фраз и - снова начал дополнять сведения Суркова.

Вскоре все знали, что Шебуев особенно близко сошелся с Марком Чечевицыным, одним из богатейших местных купцов. Этот купец получал ордена за свою благотворительную деятельность и постоянно судился из-за грошей с рабочими своего судостроительного завода, с матросами своих пароходов, с приказчиками. Он выстроил городу три прекрасные школы и приют для сирот, каждую весну устраивал для школьников катанья на пароходах с музыкой и обильным угощением, подарил городу обширное и ценное место под условием устроить на нем детский сад и вообще очень много делал для ребятишек. В то же время о нем знали, что он носит сапоги до поры, пока они совершенно не развалятся, отдает их по пяти раз чинить и во всем для себя скуп до смешного. Он же пожертвовал сто тысяч рублей на ремонт и расширение больницы для душевнобольных в память о сыне своем, который вообразил, что у него в голове и в животе ерши развелись, в припадке умоисступления разбил о печку череп свой и - умер. Капитал у купца был огромный, считался миллионами, а единственный наследник Чечевицына - его племянник - служил у него конторщиком при заводе на тридцати рублях жалованья.

Шебуев постоянно бывал у этого старика, ездил с ним по городу в его тяжелом, старомодном экипаже, запряженном парой больших жирных лошадей, и, приходя к Варваре Васильевне, отзывался о купце как-то двусмысленно, со снисхождением к нему, которое очень не нравилось всем.

- Вы говорите прямо - дерет Маркушка шкуру с живых людей или не дерет? - спросил Кирмалов, угрюмо уставив свои глаза на лицо Шебуева,

Шебуев пожал плечами и спокойно сказал;

- Дерет, конечно... И не может не драть, заметьте...

- Почему?

- Природа...

- Какая природа?

- Волчья, хищная.

- А мораль?

- Откуда у него может быть мораль?

- Позвольте! В ад верит?

- Кажется, верит...

- Стало быть, имеет мораль... стало быть, благотворит со страха...

- Возможно... Но для меня неважно, почему именно он благотворит... Важно то, что он добровольно сбрасывает обществу известный процент с капитала...

- Да ведь это - колокола... Ведь это для звона о его доброте, для заглушения голосов правды...

- Вашего голоса этот звон не заглушит. Да, наконец, даже маленький грешок вызывает больший шум, чем крупный праведный поступок...

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Эта терпимость производила в кружке Любимовой впечатление, очень нелестное для Шебуева. Его быстрые успехи – среди купцов всех поражали и в то же время усиливали подозрительное и недоверчивое отношение к нему среди интеллигентных кружков, которые он посещал всё чаще, но уже явно отдавая предпочтение кружку Варвары Васильевны. И всюду среди интеллигенции он продолжал возбуждать общее раздражение против себя, сталкиваясь со всеми во взглядах, относясь со скептической усмешкой к установившимся мнениям и постоянно стараясь доказать их практическую неприменимость.

– Американец! – с усмешкой говорили о нем.– Посмотрим, что будет дальше...

Так прошло еще с год времени. Шебуев всё преуспевал, а интеллигенция присматривалась к нему.

И вот в местной газете появилась заметка, извещавшая читателей, что "наш известный благотворитель, коммерции советник Марк Федорович Чечевицын" решил выстроить в городе "народный дом". В верхнем этаже этого дома предполагается устроить чайную, столовую и помещение для ночлега на триста человек, а в нижнем – большой зал для детских игр в зимнее время, – нечто вроде яслей. Далее сообщалось, что проект дома уже разрабатывается городским архитектором Шебуевым, который и будет строить здание.

– Это вы его настроили? – спросила Варвара Васильевна Шебуева, когда он пришел к ней. Спрашивая, она смотрела в глаза ему как-то особенно пристально и прямо.

– Я, – ответил он.

– Ну... я вас от души поздравляю... Это мне нравится...

Она улыбнулась ему хорошей, одобряющей улыбкой.

– Спасибо... сердечное спасибо вам! – отозвался он и даже поклонился ей.– Я рассчитывал на большее... Но пока – только... А нужно все-таки не это... Нужен театр, библиотека и читальня... И это будет... Старик не жалеет денег, но он не может понять... он боится театра... Но – это всё будет...

Лицо у него было недовольно, нахмурено, но глаза сверкали упрямо...

– Вы убеждены уже – будет?..– спросила Варвара Васильевна, ласково глядя в лицо ему.

– Да, я убежден... Будет и театр и читальня... И это скоро решится...

– Вот бы славно! – с удовольствием воскликнула Любимова.

– Это будет... – еще раз твердо повторил архитектор.

Пришли Кирмалов и Хребтов и, когда узнали, что будет театр и читальня, оба искренно обрадовались.

– Это я понимаю, хе-хе-е! – потирая руки, взвизгивал Хребтов.

Было странно видеть этот почти детский восторг в его кривом и болезненном теле...

– Здорово! – гудел Кирмалов, тоже с удовольствием вращая глазами. Театр – это штука! Я хор составлю из разных народов... вот! В антрактах буду былины на гусях играть... вот! Я покажу кое-что! Такие красоты поднимем со dna-то жизни – небеса возвеселятся!

– На небесах, Егор, всегда хохочут, когда юридические на земле восторгаются! – ободрил его вошедший в это время Сурков.– Поздравляю с завоеванием! – обратился он к Шебуеву.– А театрик-то вам не удался?

– Вы уже знаете? – сухо спросил архитектор.

– Как видите...

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Вот что, - отвернувшись от Суркова, сказал Шебуев певчому, - вы это серьезно сказали о хоре?

- А то как? Да я вам таких певцов соберу...

- А можете вы устроить духовное пение?

- Я? Да духовное - то еще скорее можно... Духовное! В нем такие красоты есть...

- Театр тоже скоро будет, Владимир Ильич! - сказал Шебуев Суркову. Скорее, чем я думал...

- Верю... И понимаю - вы Чечевицына на духовном пении поймаете. Одобряю...

- Ты всё шутики шутишь! - свирепо взглянув на Суркова, сказал Кирмалов. - А тут отверзаются двери... и человек, доселе выдавший лишь пакость, ныне может лицезреть красоту... Чучело!

- Егор, не говори высоким стилем! А большого труда стоило вам, Аким Андреевич, наладить это дело?

- Немало...

- Но вы довольны?

- Нет...

- Бедняга Чечевицын!

Шебуев мельком взглянул на хозяйку и промолчал, лишь на скулах у него явились красные пятна. Скоро он ушел, такой же недовольный и угрюмый, каким явился.

- Нет, - воскликнул Хребтов, проводив его, - этот человек... мне нравится... А?

- Вы как будто не совсем твердо уверены в этом? - спросил Сурков.

- Н-не совсем? Гм... чёрт знает...

- А я совсем уверен, - объявил Кирмалов.

- Неужели и его длинные руки нравятся тебе, Егор?

- Руки? - Кирмалов задумался немножко. - Что ж руки? Коли работают, то хороши... А прочее - эстетика... И чего ты все намекаешь? - вдруг рассердился он.

- Да, Владимир Ильич, - сказала хозяйка, - вы его... травите... Зачем? Для этого мало не любить человека... Вы посмотрите, как он одинок...

- О, пусть не беспокоит вас его одиночество! - воскликнул Сурков значительно и насмешливо. - Он скоро приобретет себе хорошего, очень хорошего друга!

Варвара Васильевна спокойно посмотрела на него и, красивым жестом руки перебросив свою косу с груди за плечо, сказала:

- Да, это возможно...

II

На одной из площадей города ломали большой каменный дом - старые казармы, купленные Марком Чечевицыным.

Длинный двухэтажный корпус, со множеством труб на крыше, был весь обставлен лесами, - издали он казался опутанным серой паутиной. Из окон на площадь вырывались густые облака пыли; она тяжелым туманом носилась в воздухе, и всё вокруг побелело от нее. Часть железа с крыши уже была сорвана, и обнаженные стропила высунулись, как ребра скелета.

На лесах шумно возились плотники, - раздавался стук топоров, шипела и взвизгивала

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

пила; кровельщики, ползая по крыше, отдирали листы железа и бросали их вниз, - железо, падая, изгибалось в воздухе и гремело, а ударяясь о землю, покрывало все звуки воющим грохотом. В доме что-то трещало, сыпалось, падало; вместе с пылью из окон, похожих на дымящиеся раны, высывались какие-то доски; плотники подхватывали их и куда-то тащили эти изломанные кости старого дома.

Пыль, точно иней, осела на бородах и одеждах рабочих; от нее все они поседели и хотя задыхались в ней, но работал" споро и весело, ибо работа разрушения - приятная и легкая работа.

И день был веселый - ясный и ласковый день ранней весны. На площади, в десятке сажен от разрушаемого дома, раскинулся небольшой садик, и почки на деревьях в нем уже готовы были распуститься. Из ключев рыжей прошлогодней травы пробивались к свету нежно-зеленые стрелки, и всюду - в воздухе и на земле - чувствовался канун веселого праздника природы. По дорожкам сада гуляли дети. Бледные, заморенные зимою в душных комнатах, они ходили медленно и жмурились от яркого сияния солнца. А у низенькой решетки сада, упираясь в нее руками, стоял архитектор Шебуев и, тихонько посвистывая сквозь зубы, сосредоточенно смотрел, как ломают дом. Его черное пальто из толстого драпа было выпачкано известью и на фуражке, с инженерным знаком, осела пыль.

- На-а подъе-о-о-м берем да-о-о-о! - дружно и громко пели внутри дома.

Раздался треск, тяжелый грохот, дом точно вздрогнул и, выдохнув из окон клубы пыли, окутался в мутную тучу...

- Дядя Осип! - заорал кто-то неистовым голосом.

И снова раздался стройный крик:

- По-оды-мем-ка еще-о разок!

И архитектор высвистывал этот напев, наблюдая, как маленькие фигурки людей разрушают огромное здание.

На площадь тяжело въехала старомодная колесница Марка Чечевицына и остановилась около сада. Большой и тучный купец в сюртуке, похожем на поддевку, и в сапогах бутылкам" медленно вылез из нее на мостовую, остановился и, приложив руку козырьком ко лбу, тоже стал смотреть на дом.

- Марк Федорович! - крикнул Шебуев, идя к нему.

Тот повернулся на крик, не отнимая руки от лица, и брюзгливо сказал хрипящим голосом;

- А, ты туг...

- Доброго здоровья!..

- Благодарствуй...

- Пойдемте в сад... на лавочку сядем...

- Можно...

Они подошли к решетке сада; Шебуев отворил калитку, посторонился и пропустил купца вперед себя.

- Ишь ты, детишек-то сколько высыпало! - сказал Чечевицын и, сняв с головы картуз, провел по лысине большим желтым платком.

Лицо у купца было землистого цвета, пухлое и как бы недовольно надутое, но при виде детей оно дрогнуло, прояснилось и оживо. Отвисшая нижняя губа подтянулась, сложившись в улыбку; маленькие, серые, недоверчиво прищуренные глазки, под седыми бровями, заблестели умиленно и ласково. Тяжело согнув спину, он медленно опустился на скамью и, продолжая смотреть на детей, говорил:

- Дать бы вот им по гривенничку на гостинцы... да, поди, нельзя? Не примут?

- Неловко,- сказал Шебуев, усмехаясь.

- Э-эх! Закавычки всё везде... это вот вы, образованные, человека стесняете! Неловко! А гривенник-от, глядишь бы, и освятился... оправдал бы себя-то...

- Ничего! На чем-нибудь другом оправдается...

- А надо оправдаться-то ему? - искоса взглянув на Шебуева беспокойными глазами, спросил купец.

- Всякая копейка должна быть оправдана или трудом, или добрым делом...

- Труда-то всё не признаешь за мной?..

- Я уж говорил с вами об этом,- неохотно сказал Шебуев,

- То-то вот и есть, что говорил... Говорил и наговорил... Разбередил меня, а успокоить вот не можешь... А мне успокоиться надо - потому - помру скоро! Эх ты! - купец вздохнул, помолчал и снова начал ворчать своим брюзгливым голосом: - Так, стало быть, и остается - вроде транзитной станции был я на земле. Проходит через меня капитал, и лежит на мне, и дальше идет! А я - ни к чему? Только, значит, место одно? Одна задержка?

- Нет, это немножко не так! - сказал Шебуев, добродушно взглянув на купца.

- Чего уж там! Понимаю я... отвергаешь ты меня от жизни! У-ученый! Очень вы безжалостные люди, ученые... Рассудили... Али я не человек, как все? На человека-то купцу скидки не будет? Нельзя?

Он вдруг тяжело повернулся к Шебуеву и, строго глядя на него, заговорил усиленным голосом:

- Ты, однако, не подумай, что я милости прошу... смотри!

- Ну вот ещё! Что это вы?

- То-то! Окромя бога, ни у кого милости нет... и никто ничего понимать не может, окромя бога... А что я говорю с тобой этак... по откровенности души - так это оттого, что нравишься ты мне... За жизнь твою нравишься... очень, брат, тяжелая жизнь была у тебя. Теперь ты много можешь нагрешить... оч-чень много! Но может всё тебе проститься за прошлую твою жизнь... Бог он справедливый! И за твердый ум уважаю тебя... За ум, да... А первое всего в тебе - правду ты любишь... Это, брат, тоже зачтется... Кто ее любит, правду-то? Н-да-а... А ты любишь... и любишь - не боишься. И вот, что не боишься ты - очень это большая твоя заслуга будет перед господом! Так-то, Яким...- Он глубоко вздохнул, и в груди у него захрипело. Лицо Шебуева подергивалось, и на губах его мелькала острая усмешка. Купец, упираясь подбородком в грудь, угрюмо смотре в землю. Дышал он тяжело, и при каждом вздохе в груди - у него хрипело и шумело, как будто что-то постороннее попало туда и мешало дышать ему.

- Вот ты вчера говорил мне... дерзости твои и всё это... умное твое... Как молотком, по голове меня, старика, стучал... И сидел я и думал про себя: "Зачем слушать это? Зачем знать? Не сказать ли мне человеку этому - тебе-то: "Уйди от меня прочь!" Подумал, а не сказал... Не сказал... и ты это цени... Раздражатель ты человеческий! Э-эх! Господи, помилуй!..

Он замолчал и снова стал смотреть на детей, нахмутив свои седые клочковатые брови к поглаживая опухшей большой рукой белую бороду с какими-то желтыми волосками в ней. И рука у него тоже вся была покрыта жесткой рыжеватой шерстью; даже на суставах пальцев росли кустики шерсти. Шебуев взглянул на эту руку, похожую на лапу зверя, и безучастно отвернулся в сторону. Лицо его стало спокойно, даже скучно, и лишь в глазах сверкало что-то подстрекающее, какое-то ожидание.

- А хорошо на детишек глядеть...- снова заговорил Чечевиин.- Что есть на свете лучше детей?.. Ничего нет, Яким, так и знай... Ничего... Умрем мы, а они жить будут... до-олго, много!.. И в ихней жизни беспорядка и склоки уж меньше будет,

Мужик. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru

чем у пас теперь... Н-да-а! Много меньше! Потому, брат, жизнь-то год от году все больше к порядку идет... А от порядка в жизни и в человеке порядка больше будет - так?

- Так! - сказал Шебуев.

- Вот за то я и люблю детей, что они лучше нас с тобой будут... Вот это в них и есть главное самое... это в них и трогательно, что они лучше-то нас будут... это и привлекательно сердцу... И даже - боязно... Я вот иду по тротуару, и когда они навстречу бегут, - сторонюсь, дорогу им даю... А мне шестьдесят три года, и губернатор первый кланяется... а? Хо-хо! Смешно... А вот поди-ка - сторонюсь... Потому - дети... Они будут, а я уж был, да вот весь вышел... Вон доктора-то говорят - за границу поезжай! Печенки-то у меня надорвались, слышь. Ты чего молчишь?

- Слушаю... Вы вот насчет порядка сказали... что всё к порядку идет... Это - какой же порядок будет, по-вашему?

- А такой, что все люди правильно разделятся... каждый по своему месту... Это уж началось...

- Не видать что-то! - с сомнением сказал Шебуев, любопытно взглянув в лицо Чечевицына,

- А ты гляди в оба - и увидишь... Купец-от всё множится да богатеет? Верно?

- Верно...

- Вот видишь! А мужик становится умнее... себя понимать начал?

- Это откуда видно?

- Ты кто родом?

- Крестьянин... да-а, вот вы о чем!..

- Ну, разумеешь?... Мало вас этаких развелось? И везде мужик шевелится, кверху лезет... даром что житье у него тяжелое...

- О-ой раз! Еще раз! Еще-о разик, еще раз! - разнесся в воздухе дружный крик рабочих.

- Ишь галдят... - заговорил Чечевицын, - Ты за границей бывал?

- Бывал! Недолго...

- Ну, что там - при работе поют?

- Иногда нют...

- Лучше, чему нас? Поют-то, мол, лучше?

- Нет... едва ли... Там кричат.

- С натуги, значит... силы не хватает. А у нас вот поют... У нас силы вдоволь. У нас - все лучше... Эх, заболтался я с тобой... Ну, что - рад ты, что ломать начал?

- Мне чего же радоваться особенно? Работе - рад. Работать я люблю.

- Велика работа! Ходи да поглядывай... А не нравится мне эта твоя затея... как хочешь!

- Театр-то?

- Вот он самый... Разврат это... Пляс да песня, да смех... Что туг нужного для человека?

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Для человека, Марк Федорович, всё нужно! - внушительно, с уверенностью в голосе и на лице сказал Шебуев.- Нужно" чтоб он и пел и плясал, нужно, чтоб смеялся, чтоб веселее жилось. Но театр не для одного веселья, он и для пользы... в театр будут ходить - в кабак не будут.

- И в церкву не будут,

- Кому нужно в церковь - театр ему дороги не загородит. А коли вы иначе думаете - значит, церковь не уважаете.

Вот, Яким Андреич,- сказал купец, пристально и с чувством, близким к почтению, глядя на строгое лицо Шебуева,- заговоришь ты вот этак и удивишь меня даже до крайности! Ведь уж вижу,- я старый воробей, и меня не обманешь! - вижу, чувствую я, что не больно тебе до церкви дела много, а всё же говоришь ты верно про нее. Верно! Ничем дорогу к ней заставить нельзя... она - сила превыше всего, в ней бо господь обитает. Но ты-то как про нее правду знаешь?

- Я сам могу верить, могу и не верить, но ежели я во что верую, так уж крепко... И от других того же требую... веришь,- ну, так не думай, что твоей вере чужой смех мешает, а коли ты это думаешь, стало быть, слабо веришь...

- И опять верно! - с удовольствием воскликнул Чечевицын.- Верно, умница! Или в божью силу верь, или в дьяволу...

- Вот видите...

- А все-таки театр этот твой - затея пустая... Вот разве для ребятишек устроишь в нем, как обещал... разное там, веселое... ну и пение духовное тоже...

- И детям и взрослым от этой затеи только польза будет, а вам памятник на сто лет... Хороший памятник, поверьте! Выше всякой колокольни... От колокольни только звон, а из театра свет... Ведь вы согласились со мной, что чем больше человек видит, тем больше умнеет?

- Слышал я это от тебя. И очень понимаю, что от ума человеку вреда не состоится... ежели ему воли не давать... Первее всего нужно, чтоб человек во всем сдерживать себя умел, да! И уж коли театр - пускай его! Дуй тебя горой!..

Чечевицын развеселился, глазки у него довольно заблестели, и даже его желтые щеки стали бурыми от оживления, а может быть, от воздуха весны и блеска солнца.

- Ну, я поеду на биржу... Поедем? Завтраком накормлю...

- Минуточку подождите, Марк Федорович,- озабоченно сказал Шебуев.Есть у меня к вам большая просьба...

- Ну-у опять... Чего еще?

- Вот что - дайте мне денег...

- Э! А я думал - насчет этого всё...

Он кивнул головой на театр и, расстегнув сюртук на груди, сунул руку за пазуху, говоря:

- Сколько же тебе денег-то этих? Смотри, многого со мной нет...

- Мне нужно тридцать восемь тысяч...- спокойно сказал Шебуев, но скулы у него покраснели и глаза сузились в ожидании.

Чечевицын вынул руку из-за пазухи, тщательно застегнул сюртук, поглядел на архитектора и - удивленно протянул:

- Ого-го! Это ты... тово... ничего! Это, знаешь, кусок немалый... На кой те ляд такую уйму? Это на первый раз голому человеку можно шубенку сшить... да-а!

- Мне нужно тридцать восемь тысяч,- повторил Шебуев, понизив голос и не глядя на купца.

- Слышал... цифра хорошая!.. В аккурат тридцать восемь? А не тридцать пять и не сорок? Верно счел?

В глазах купца искрился острый смешок, и губы у него вздрагивали.

- За тридцать пять я куплю здесь в уезде имение...

- Чье это?

- Скуратова...

- Мм... Сорок две он желает взять... Тридцать пять - это цена законная... Ничего цена... Только не тово, неважное это дело, помещичать-то. Какой ты помещик?

- Мне для ценза нужно...

- А! Вон оно что! Да ты, чудак, болотце у меня купи... У меня хорошее болотце есть - десятин около двухсот... лесок еловый... клюква, грибы-козляки там... вот те и поместье будет! По чину... хо-хо! И Скуратову будешь сосед притом же!

- Мне, Марк Федорович, необходимо Скуратове купить... Оно сразу в земство меня пустит...

- Пустит, - это что и говорить! Верно рассчитал, пустит... Ах, голова! Верно всё у тебя... и очень ты этим побеждаешь!

- Дальше я соображаю так: болото ваше вы тоже мне продайте...

- Мм... И болото? Ах ты... пострели те горой! На что оно при Скуратове?

- Я завод сухой перегонки дерева устрою, лес сведу, а болото высушу...

- Правильно!.. Н-да-а... Вот оно как... Это будет... братец ты мой... это, Аким Андреевич, выйдет так, что Скуратово-то тогда тыщ около двухсот оценится... мм!..

Шебуев сложил руки ладонями вместе и, сунув их между колен, крепко стиснул колени. Чечевицын внимательно и серьезно поглядел на его широкую согнутую спину, на крепкую шею и покачал головой. Потом поджал губы, потрогал себя за бороду и, сбоку глядя на архитектора, заговорил, как бы рассуждая сам с собой:

- Земля там наклонна к реке... м-да... Ежели через большую дорогу канавочку проковырять - вода сбегит, верно! А я вот - дурак... Семнадцать лет владел, а не догадался... Вот она, наука-то... Нет, в ней тоже есть применимость... Что ни говори... Пес те возьми, а? Правильно! И заводишко у места будет... хм! Подвел рекой дощаничишко и грузи себе полегоньку... а в половодь - к самому заводу подъедешь... ловко! Эх, кабы не пора мне умирать! Кабы у меня печенки покрепче были... Взял бы я тебя, Аким Андреевич, в управляющие - получи двенадцать тыщ!

- А я пошел бы? - спокойно спросил Шебуев, не изменяя своей позы.

- Н-да-а... ты бы не пошел... хо-хо! Где тебе чужим делом править? Ах ты... сделай милость! Обидный для меня твой план, Аким Андреевич! Очень обидный... так вышло у нас, что вроде как ты меня дураком обругал... да-а... А я должен чувствовать, что правильно ругаешься...

- Ну так как же? Даете денег, Марк Федорович? - спросил Шебуев, выпрямившись и глядя купцу прямо в глаза.

- Денег-то? Это так нельзя... Это непорядок... так сразу и дай тебе! Надо подумать... Надо очень подумать...

- Да ведь дело правильное!..

- Ну что ж? Твое дело... а деньги мои. Н-да... Так сразу нельзя... "дай!" - "Изволь!" Нет, этак не ведется...

Шебуев вдруг весело и искренно расхохотался.

- Да ведь дадите же!

Купец чмокнул губами и, как бы сам себе не веря, вскричал:

- А... дам! Ну те к лешему! Дам... живи! Вали! Не могу не помочь умному парню... Стыдно не помочь. Ах ты... Как не дашь? Только ты погоди... я подумаю... для прилику... Ну и прощай... прощай, брат! Уйти от тебя скорее, а то мильон выпросишь - хо-хо!

Чечевицын смеялся, щеки у него вздрагивали, и, встав со скамьи, он как-то нерешительно переступал с ноги на ногу. Но в глазах у него было что-то пораженное, какое-то смятение. Он похлопывал Шебуева по плечу большой пухлой ладью, и глазки его спокойно бегали по твердому лицу Шебуева.

- Иду... еду на биржу... скоро двенадцать... уж не зову тебя: некогда завтракать-то,- говорил он, усмехаясь, и вдруг как бы против своего желания закончил свою речь; - А... а опасный человек, Яким Андреич... охо-хо какой! М-много ты нагрестишь на земле... ей-богу, правда!

- Ничего, не бойтесь! - сказал Шебуев, спокойно тряхнув головой.

- Да я... не боюсь! Не сын ты мне... не сын... Прощай же!

- До свиданья!

Чечевицын пошел из сада, тяжело передвигая огромные ноги. Корпус его был странно неподвижен и похож на большую черную бочку. А Шебуев снова сел на лавку, крепко провел рукой по лицу и облегченно вздохнул. Но он не стер рукой с лица своего ни озабоченности, ни той неприятной и неприязненной усмешки, которой он проводил купца. Он и теперь с этой же улыбкой разглядывал землю пред собою, низко наклонив голову и не замечая, что по дорожке сада к нему тихо идет Малинин. Он вскинул голову уже тогда, как увидел пред собою ноги врача

- А! Павел Иванович! - воскликнул он, и выражение его лица тотчас же стало искренно приветливым.

- Экую вы пылицу пустили! - сказал Малинин, пожимая его руку и указывая глазами на разрушаемый дом.

- Уж потерпите! Не водой же поливать этот ковчег ветхозаветный... Куда вы?

- Гуляю... Я уже давно здесь хожу... да вы тут с Чечевицыным сидели...

- Сидел...

Лицо Шебуева снова дрогнуло, и он с ожесточением и злорадно воскликнул:

- Заглотался, подавился, старый волк! Смерть чувствует и - подло трусит... га-адина!.. А я его всё наталкиваю на мысль о ней... И, ей-богу, мне приятно видеть, как он корчится от страха...

Малинин уже сел рядом с ним на скамью, но при этих словах вдруг поднялся и с крайним изумлением на лице взглянул в лицо архитектора.

- Что вы... так смотрите? - спросил Шебуев.

Видя, как слова его подействовали на Малинина, он вдруг осекся, даже смутился, и его злорадно сверкавшие глаза погасли. Он даже улыбался немножко конфузливо, но уже весело.

- Вы меня...- заговорил Малинин медленно, опускаясь на лавку и не сводя с него глаз,- вы страшно удивили меня...

- Уж вижу, вижу... но чем - не понимаю!

- Этой... жестокостью... Послушайте! Значит, вам среди них не легко?

- Какой вы наивный, Павел Иванович! - вздохнул Шебуев.

- Но вы всегда так защищаете их... и я думал - Чечевицын искренно нравится вам...

- Он? В нем есть кое-что... Он лучше других... А все они тем хороши, что жить умеют... звери! Хорошо знают цену жизни... Эх, Павел Иванович! Я сейчас этому Чечевицыну сражение проиграл... Глупо проиграл, знаете... Обидно глупо... да! Нашло на меня что-то... бросился сразу, и... он мне не даст денег, старый чёрт!

Архитектор махнул рукой я замолчал. Малинин смотрел на него с сожалением и упреком.

- Что вы? - спросил архитектор.- Думаете - звереть начинаю? Нет еще... рано еще! Хотя среди них озвереешь.. Я вот уже две недели не отдыхал от них... Сегодня вечером иду к Варваре Васильевне... Вы что такой бледный?..

- Не спал ночь...

- Стихи писали?

- Доклад о кладбищах...

- Бедняжка!

- Потом лег спать... но не спалось. В голове какая-то муть... Лежал, глядя в потолок, и, слушая, как бьется сердце, думал в такт его биению: "Жизнь идет, жизнь идет!" Скучное занятие!

Павел Иванович не спеша достал папиросницу, закурил и, выпустив изо рта клуб дыма, стал следить, как дым колеблется и тает в воздухе.

- Н-да, вы избрали себе невеселую специальность,- сказал Шебуев, ласково поглядывая на его лицо.

- Это вы про санитарию?

- Нет, про мечтания...

В доме, сзади них, что-то с грохотом повалилось: раздались громкие крики, Лязг железа, дребезг стекол, и все звуки тучей поплыли над садом.

- О, чёрт... что там? - вскричал Малинин, побледнев и вскакивая со скамьи.

Шебуев взял его за рукав пальто и потянул вниз, с усмешкой говоря:

- Не беспокойтесь... Самое обыкновенное дело... жизнь идет и разрушает старые постройки...

- Вы уверены... никого не задавило? - нервозно подергиваясь, спросил врач.

- Уверен, уверен! Вам бы холодненькой вод имей полечиться, а?

- Мне и так холодно... жить...

- Тогда влюбитесь... Это согревает...

Малинин мельком взглянул на него и, не сказав ни слова, стал тихо сдувать пепел с папиросы.

- Быть влюбленным - славно! - заговорил Шебуев негромко и глядя куда-то в глубь сада.- Сейчас - это захочется... улучшить себя... прибраться... нарядить душу во всё яркое... захочешь быть лучше всех людей для любимой женщины... всех умнее, всех сильнее... Славно!

- А потом праздничный костюм долой, и - бедная женщина вместо рыцаря увидит пред собой грубого виллана с претензиями владыки...

- Может, и увидит... Это уж ее дело... Захочет она - и праздничный костюм не износится во всю жизнь... Пусть только чинит вовремя, пусть не дает рыцарю обноситься и расстегнуться...

- Вы читали "Без догмата"? - спросил Малинин.

- Читал... Отвратительная книга! Вот где, батенька, гипертрофия интеллекта изображена во всей гнусности...

- Вы шутите? - с изумлением воскликнул врач.

- Нимало.

- Не может быть! Да неужели вам чужда эта тонкость психики, острота чувств, духовная сложность героя?

- И никаких чувств там нет, а есть одни разнузданные умствования бескровного человека.

- Да ведь это вопль всё познавшей души.

- Ого! Это писк трусливой плоти, которая хочет жить, но боится жить...

- Ну, вы сели на своего конька! Я не спорю больше... у меня голова болит!..- воскликнул Малинин, раздраженно отвертываясь от собеседника.

Тот помолчал несколько секунд и спокойно предложил:

- Пойдемте завтракать?

- Идемте!..- согласился Малинин. А потом почти с удовольствием воскликнул: - Ну, право же, нет ни одного пункта, на котором мы сошлись бы!

- Верно! Но - и пускай не будет, да?

- Н-не знаю...

- Ну, идемте...

- Посидим еще минут пять?

Они взглянули друг на друга, и оба дружно расхохотались.

- А весело мне с вами! - вскричал Шебуев.

Малинин с улыбкой взглянул на него и, помолчав, сказал:

- Ну, пойдемте!.. В самом деле хочется есть...

Они встали и, не торопясь, пошли по дорожке сада. Малинин шел, покачиваясь, наклонив голову и глядя себе под ноги, а Шебуев, глубоко вдыхая весенний воздух, поглядывал на врача сбоку и, добродушно улыбаясь, шагал твердо. Шебуеву нравился этот задумчивый и прямой человек, хотя порою его искренность казалась архитектору болезненно вспухшей, никому не нужной и тягостной даже для самого Павла Ивановича... Порою он ловил себя на чувстве жалости к Малинину; иногда его печальные речи представлялись архитектору похожими на теплый пепел. Но в то же время он замечал за Павлом Ивановичем настойчивое желание встать ближе к нему; это было почему-то лестно для Шебуева и усиливало его симпатию к врачу.

- Вы о чем думаете? - дружески спросил он его минуты через две молчания.

- О вас,- с улыбкой ответил Малинин.- Что это вы проиграли Чечевицыну?

- Э, немного... то есть не особенно много... Обидно, что натолкнул его на мысль увеличить капитал... Чёрт знает, зачем мне это понадобилось... Молод еще я... И тороплюсь там, где надо бы поспешать медленно...

Мужик. Максим Горький gorkiуmaxim.ru

Малинин снова задумался, помолчал и, заглянув в лицо Шебуева, ласково заговорил:

- Я... хочу спросить вас... но боюсь, что это неловко.

- Ну, вот еще! Спрашивайте, не стесняясь... В чем дело?

- Говорят... у вас на стройке работает плотник... ваш родной дядя... у которого вы воспитывались? Вы извините...

- В чем это извинить? Работает дядя - и хороший плотник. Будь он грамотен - я б его десятником сделал... А почему он вас интересуется?

Малинин помолчал.

- Почему? Да... мне думается, что это неловко... то есть должно стеснять вас... меня бы стесняло...

- Что же собственно стесняло бы вас? - с искренним удивлением спросил архитектор.

- Да... эта разница положений... Старик - ведь он уже стар? - работает за несколько рублей в месяц... тогда как я... архитектор... зарабатываю сотни...

Шебуев с острым блеском в глазах осмотрел собеседника и серьезно сказал:

- Н-да, при таких чувствах вам для уравнивания с дядюшкой в зарплате пришлось бы тоже пойти в плотники...

- Зачем же? - задумчиво возразил Павел Иванович, - Можно бы отправить его в деревню, на покой... Дать ему несколько сот...

- А, вон что! - воскликнул Шебуев. - Но я не филантроп и не охотник плодить в деревне кулаков, находя, что их и без моего дядюшки достаточно...

Малинин быстро взглянул на него и смутился.

- Аким Андреевич! - торопливо и мягко заговорил он. - Я, кажется, сделал неловкость? Вы обиделись, да? Ведь вы же знаете... я всегда говорю... вслух то, что не говорят.

- Да вы не беспокойтесь! - искренним тоном воскликнул Шебуев, - разве я вас не понимаю? И если б я обиделся, то не на вас, а за вас. Действительно, обидно видеть людей хороших и честных, когда они ставят себя в зависимость от пустяков. Ведь что такое дядя-плотник? Пустяк!..

- О, что это вы? - тихонько проговорил Малинин.

- Ну да! Пустяк, мелочь! Да разве я учился и работал для того, чтобы устроить беспечальную жизнь моему дядюшке?

Малинин тихонько дотронулся рукой до его плеча и спросил:

- Вы ясно, вполне ясно представляете себе, для чего вы учились и работали?

- Да, ясно, вполне! - твердо ответил архитектор.

- Я так и думал... Это... хорошо, должно быть... А вот мне так становится ужасно скучно и... даже смешно, когда я вспомню, что двенадцать лет учился лишь для того, чтобы потом обнюхивать помойные ямы, колбасные, разные мастерские...

- Слушайте, милейший Поль! Хотите, я вас научу сделать солидное и очень нужное дело? Хотите, ну?

- Господи! Как он вспыхнул!

- Вы вот что: вы обнюхивайте мастерские, обнюхивайте их! И штрафуйте хозяев - беспрестанно штрафуйте, высшей мерой штрафа! Бейте их по карманам сегодня, завтра, всегда! Бейте без пощады, жестоко разоряйте, если можно! А я - зайду с

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

другой стороны! Я подъеду с проектом дешевых жилищ для рабочих... вы понимаете? И ручаюсь вам, что в пять лет рабочие в городе будут жить в прекрасных квартирах! Я таких казарм настрою, что все Западные Европы рты поразевают от зависти... Да еще от хозяев за это благодарность получим... Вы только слушайте меня, вы только действуйте!

Шебуев даже вздрагивал весь от возбуждения, а глаза у него так и сверкали. Санитарный врач смотрел на него с грустью и наконец прервал его речь, тихо и с сожалением сказав:

- Сколько у вас энергии! И как жаль, что вам приходится тратить себя на мелочи... Это ужасно, знаете. Это даже трагично... Вы представьте себе ваше положение с того момента, в который для вас станет ясно, что всю жизнь вы истратили на маленькие полезности и что все они растворились в жизни, но не обогатили ее, не облагородили человека... Как страшно станет вам тогда и как вы пожалеете себя! А силы уже будут подорваны трудом, уже разменяются на устройство театров, скотобоев, барачников... Удовлетворения нет... Захочется что-то сделать, чем-то завершить свою жизнь... но ничего нельзя сделать. Нечем делать!

- Черт вас возьми, Малинин! - раздраженно пробормотал архитектор, толкая ногой дверь в ресторан.- Неужели вы не понимаете, что вся эта ваша лирическая размазня обращается у вас в самовнушение, что вы гипнотизируете себя своими вздохами?

- Лакеи слушают,- тише! - остановил Малинин громкое и сердитое ворчание архитектора.

Они поднимались по широкой лестнице ресторана, и навстречу им сверху лились ручьи густых и тягучих звуков оркестриона. Октавы и басы гудели однообразно, и что-то мутное, усталое чувствовалось в их протяжном реве, медленно колебавшемся в пахучем воздухе высокого и большого зала. Альты и дисканты то нервозно вскрикивали, заглушая друг друга, то начинали петь какую-то заунывную, но неясную русскую мелодию. Большой барабан бухал пессимистическим и роковым звуком, а маленький судорожно трещал, и в трелях его чувствовалось что-то лихорадочно торопливое, точно он стремился как можно больше натрещать и - лопнуть.

- Вот чёртова музыка! - сказал Шебуев, усаживаясь за столик под окном.- Терпеть не могу! Точно в этом чулане компания хороших русских людей сидит и судьбы мира решает... Ей-богу, похоже! Вы вслушайтесь - вот это кирмалов ревет - чу! Бум! Это он... А барабан - это Сурков рассыпается... А эта тоненькая и милая дискантовая дудочка - вы... ха-ха! Ей-богу, вы! И мелодия ваша - слышите? Душа с богом прощается...

Малинин рассматривал пальмы на окне и тихо смеялся.

- И какого они чёрта играют, эти дурацкие медяшки? Слушай, дядя! обратился Шебуев к лакею, стоявшему у стола, почтительно склонив голову.Прекрати, брат, музыку!

- Никак нельзя-с! - сказал лакей, улыбаясь.- Публике нравится...

- Скверный вкус у публики... Павел Иванович! Бифштекс?

- Пожарскую котлету!..- сказал Малинин и, усевшись за стол, задумчиво произнес:
- Ужасно люблю пальмы...

- А мне в ресторанах раки нравятся...- пробормотал Шебуев, просматривая карточку вин.

- В них есть что-то странное и так чуждое нам... нашим печальным березам...

- Вот этого бутылку! - сказал Шебуев лакею, тыкая пальцем в карточку.Вы что-то насчет эстетики говорите?

- Я - о пальмах...

- Ага! Н-да-с... пальмы - это... красивые цветы...

- Это деревья...

- Ну, хорошо, деревья... Деревья, конечно, лучше... На дереве повеситься можно... А желал бы я видеть русского человека, повешенного на африканской пальме. У меня, знаете, своеобразный эстетический вкус... Вы как думаете, Павел Иванович, Чечевицын даст мне денег?

- Не знаю... Думаю - не даст...

- А я думаю - даст... да! Спрашивать вас о таких вещах - всё равно, как спрашивать соловья, любит ли он олады...

И оба они добродушно улыбнулись друг другу... Но Малинин тотчас же снова стал серьезен, подумал немножко и сказал:

- А замечаете вы, как быстро русские люди, о чем бы они ни говорили, соскакивают на шутку?..

- Они на всё наскакивают и от всего быстро отскакивают. Уж такое у них блохоподобное поведение... А! Этот идет... как его? Черт его дери... противная рожа! Нагрешин...

Этот идет... как его: черт его дери... противная рожа! Нагрешив...

К ним шел высокий человек с черной клинообразной бородкой, одетый в щегольски сшитый мундир судебного ведомства. На ходу он как-то особенно вывертывал ноги и громко шаркал ими о паркет пола. Его длинное лицо любезно улыбалось, и на висках около глаз собрались лучистые морщинки, что придавало ему вид сияющий и счастливый. Прищуривая свои голубые, немножко нахальные глаза, он пожал руку Малинина и вместо приветствия сказал:

- Новость!

И тотчас же, быстрым движением корпуса обернувшись к Шебуеву, повторил:

- Крупная новость!

Затем согнулся, с ловкостью акробата подбросил под себя стул, сел и, упираясь руками в колени, начал говорить, повертывая голову то направо к архитектору, то налево к врачу.

- Траур у Лаптевых кончился - понимаете? Надежда Петровна вступает в общество. Первого мая она устраивает поездку в лес и просила меня пригласить вас, господа! Понимаете? Едут доктор, Скуратов, Ломакин, Редозубов и еще много народу... Будет очень, очень весело! Вы приглашены, господа. Так? Великолепно!

Говорил он быстро, и его глаза, острые, как гвозди, точно царапали все, на чем останавливались.

- Поблагодарите от меня Надежду Петровну, - сказал Шебуев.

- А вы, Павел Иванович?

- Я... едва ли поеду... Мне не нравятся эти кутежи... да и публика какая-то странная.

- Странная? - спросил Нагрешин. - Почему странная? Люди - всё хорошие... все умеют быть веселыми...

- Я не люблю веселых...

- Ну да, вы - поэт... Луна, томная грусть и прочее... Но поверьте, что иногда и в маленьком кутеже очень много поэзии... А потом - вы подумайте! ведь теперь около Надежды Петровны разыгрывается, так сказать, турнир, ха-ха! Именно - турнир. Ну да! Состязание женихов! Ведь не могут же люди остаться такими, как всегда, около девушки, у которой четыре миллиона приданого?! Каждый непременно сочтет необходимым подтянуться, выставить свои достоинства во всем их блеске, каждый будет стараться обратить на себя внимание Надежды Петровны... Что это

Мужик. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
будет! Боже мой! Это будет замечательно... а? Борьба!

- Вы готовы? - спросил Шебуев, с усмешкой разглядывая Нагрешина.

- я? я готов, да! Вы думаете, я буду рисоваться, буду говорить благородные слова, вроде того, что, мол, четыре миллиона - пустяки и что... ну, я не знаю, как и что там еще можно сказать по поводу естественного желания человека иметь четыре миллиона рублей... Я ничего такого не скажу... За четыре миллиона я вам женюсь на сорока старухах, а не то что на молодой, здоровой девушке... хотя она и... неинтересна, правду говоря...

- Это хорошо, что вы так откровенны... - заметил Шебуев.

- Да-с, я откровенен, - воскликнул Нагрешин с вызовом в глазах. - Я прямо говорю: четыре миллиона - это огромная вещь! Это - силища...

- Не отрицаю...

- Ага? Вот Павел Иванович, - он не... он действительно равнодушен... Ему это недоступно... А вы - вы не можете быть равнодушным, хотя и кажется... да-с! Вы силу денег знаете.

- Знаю... и вижу... - сказал Шебуев.

- И видите? Это намек на мое... возбуждение... понимаю! Но пускай намек! Пускай...

Нагрешин в самом деле был очень возбужден. Лицо у него покраснело, руки вздрагивали, он беспокойно вертелся на стуле, и на лбу у него даже пот выступил.

- Но вы, Аким Андреевич, напрасно намекаете! Вы думаете - меня возбуждает что?.. корыстолюбие? Ошибаетесь! Четыре миллиона не могут возбудить корыстолюбия! да-с! Не могут-с! Корыстолюбие возбуждают тысячи, а не миллионы! Миллион - сила благородная... это-идеал, если вы хотите!

- Иван Иванович! - укоризненно сказал Малинин, с сожалением посмотрев в лицо Нагрешину. - Вы ведь клеветаете на себя... ну, разве вы так думаете о деньгах?

- Вы... вы... - обернувшись к нему, пониженным голосом заговорил Нагрешин, - вы не понимаете! Тут, поймите, не деньги просто, а мил-ли-о-ны... слышите? И даже за один из них, я, Иван Иванов Нагрешин, сын дьячка, простил бы людям все унижения, испытанные мною в юности моей, студенческие голодовки, всю эту мерзость, которую я пережил... Она надорвала меня... изломала... и - я ведь знаю! - я очень... неважный человек!.. Но - дайте мне миллион! Я всё и всем прощу, я даже люблю люден, искренно пожелаю им добра и даже - буду пытаться помогать им жить. Буду, да-с! И - верьте! миллион может переродить человека - может!

Малинин отрицательно покачал головой и тихо, но убежденно сказал:

- Никогда и ничто материальное не может изменить человека в лучшую сторону...

- Ах, идеалы! - воскликнул Нагрешин и так сморщил лицо, точно у него вдруг заболели зубы. Он тоже начал качать головой, тоскливо глядя на Малинина. - Все идеалы... небеса... Но ведь в небесах только торжественно и чудно, а больше ничего нет, на земле же всегда творится черт знает что! Батюшка вы мой! Идеалы - это хорошо, но и жирные щи с говядиной человеку необходимы... И кто такие щи в продолжение четверти века даже и по праздникам не едал, для того они - тоже идеальные щи!

- Это цинизм, - сказал Малинин и, отворотившись к окну, стал смотреть на улицу.

- Цинизм? Очень может быть... Пускай его, коли цинизм! А я все-таки буду говорить, что одной моральной силой ничего в жизни мы не разрушим и ничего не создадим!

- Кто это - мы? - спросил Павел Иванович, не оборачиваясь к нему.

- Интеллигенция-с! А если бы вооружиться нам деньгами...

- Аким Андреевич! - сказал Малинин, встав со стула и строго глядя на Шебуева.- Вы слышите? Это ваша мысль!

- Почти,- сказал Шебуев спокойно, выдерживая возмущенный взгляд Малинина.

Он ел свой бифштекс, а лицо у него было равнодушно, и, казалось, он не слушал разговора. Но в глазах его то и дело вспыхивали какие-то искорки, и во внимании, с которым он разрезал мясо, было слишком много озабоченности.

- Почти? - переспросил Малинин, и уже строгое выражение его лица изменилось в умоляющее.- Но вы видите, какая это опасная мысль?

- Вижу...

- Это не опасная, это ценная, здоровая мысль! - с жаром заговорил Нагрешин.- Подумайте, кто мы? У крестьян есть мир, у мещан - управа, у купцов, у дворян - у всех классов есть нечто... а у нас намерения, идеалы и прочее и прочее... невесомое и нереальное... И все мы - какие-то выдуманные люди. А вооружись мы тем же оружием, что и враг наш...

- Котлета-то у вас простыла, Павел Иванович! - вдруг сказал Шебуев, не поднимая глаз от тарелки. Голос у него звучал удивительно равнодушно, даже обидно равнодушно.

Малинин удивленно взглянул на него и взялся за нож и вилку. А Нагрешина эти простые слова точно сшибли с какой-то высоты. Он схватился за бородку и, крутя ее, начал бормотать:

- Да-с... Вот как... Так вы, господа, приглашены...

Через несколько минут он простился и ушел, так же шаркая ногами по полу, но уже не такой оживленный и сияющий.

- Боже мой! Что он говорил! - с отвращением воскликнул Малинин.

- Говорил не красно...

- Только?

- Мм... Видите ли что, непорочный Павел Иванович! - не переставая есть, спокойно заговорил Шебуев.- У него имеется крупное смягчающее вину обстоятельство... Впрочем, общее всем разночинцам. Парнишка - слабый, худого питания, в организме недостаток всяких здоровых соков. Поступает в гимназию... Курточка прорвана, постоянно голоден, товарищи смеются и поколачивают его... Дома - теснота и грязь... Восемь лет сидит под прессом классицизма. Кончил гимназию. Университет... Голод, холод, урочишки, униженьишки... Парнишка, повторяю, слабый. Люди ходят по улицам в крепких калошах, в теплых пальто, бывают в театрах, валандаются с девицами, даже влюбляются... а у него - всё удовольствие в том, чтобы поесть досыта... Эх, Павел Иванович, какое иногда большое... даже сладострастное удовольствие может испытать человек, поглощая вареную колбасу с черным хлебом!.. Такие наголодавшиеся люди, вступая в жизнь, вносят с собой неутолимую алчность к ее благам... но некоторые из них остаются аскетами до конца дней. Аскетизм - тоже уродство и болезнь, а потому я не знаю, кто лучше - аскет или Нагрешин... Заметьте вот еще что: иные жаждут миллиона не ради того чтобы свинничать, а лишь желают им, как фиговым листом, прикрыть наготу своей души. Душа у них - голая, ограбленная жизнью, нет в ней ни надежд, ни мечтаний - ничего нет! А желание чем-то быть, что-то представлять собою - осталось... И вот человек пытается прикрыть наготу души своей обаянием денег... Этот Нагрешин... слов нет - довольно противная фигура... Но - вы слышали? - он надеется, что миллион очеловечит его...

- Не знаю - так ли это? - сказал Малинин, недоверчиво поглядывая на архитектора.- А Нагрешин... всем известно, что он жил и, кажется, еще живет на содержании у старухи Дятловой...

- Такие, как он, и на это способны...- заметил Шебуев, прихлебывая вино.

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Аким Андреевич! Вы не возмущаетесь? - нервно отталкивая от себя тарелку с недоеденной котлетой, подавленным голосом спросил Малинин.

Архитектор прищурил один глаз и, подняв стакан с вином на свет, внимательно посмотрел на него открытым глазом.

- Пожалуй... нет, не возмущаюсь... Я, надо вам сказать, полагаю так, что если мы станем уделять хорошим людям побольше внимания, а дурным поменьше, то от этого и те и другие сильно выиграют. Хорошим людям будет легче жить, а дурным тяжелее. Мне всё думается, что дурные люди еще хуже становятся, когда на них обращают внимание. "А! ты меня видишь - значит, я величина!" - думает мерзавец и надувается, рисуется, капризничает. Надо бы помнить, что все дурные люди ужасно самолюбивы. Не троньте, не замечайте его, и он лопнет, исчезнет, ибо без внимания жить не может. Вот вы дотронулись до Нагрешина, а он вздулся свыше меры... и уж, верно, наврал на себя, зарвался...

- Это называется "индифферентизм", - уныло сказал Малинин. Его, видимо, угнетало спокойствие собеседника.

- Ага! Вот как это называется. А я по части номенклатуры слаб... и до сей поры не знал имени моего порока...

- Вы относитесь ко мне... без достаточного уважения, Аким Андреевич! опустив голову, тихо сказал Малинин. - За что? Ведь я только понять хочу вас... я воздерживаюсь судить. Мне многое не нравится, многое пугает меня... вы такой... духовно пестрый человек. Слишком резко переплелось в душе вашей черное и белое... слишком запутано всё! Но и то и другое... привлекает меня к вам... Я хочу разобраться... хочу понять. А вы отталкиваете... Разве я так груб?

Шебуев быстро схватил его руку и крепко сжал ее. Глаза у него вспыхнули, и лицо так странно изменилось, точно с него маска упала. Это было лицо человека бесстрашно искреннего.

- Отталкивать вас я не хочу, - вы ошибаетесь! - негромко заговорил он, и на скулах у него вспыхнули красные пятна. - Я желаю близости с вами... она мне приятна и нужна. Вас многое пугает во мне? Я понимаю это... я сам порой чего-то боюсь в себе... Вы парень честный... как хорошее зеркало... ваше отношение ко мне я оценил, поверьте!

- Пустите руку! - тихо и болезненно крикнул Малинин.

Он был бледен, губы у него вздрагивали, а когда Шебуев выпустил его руку из своей, он поднял ее и, помахивая ею в воздухе, сказал:

- Ка-ак вы стиснули...

- Простите! - глухо молвил Шебуев, не глядя на него.

- Это вы должны извинить мне... - смущенно улыбаясь, говорил Малинин, разглядывая покрасневшую руку. - Я вам испортил хорошую минуту... да?

- Ничего!.. Она воротится... Однако уже два часа... Мне надо сходить на стройку и к Суркову... Вы вечером у Варвары Васильевны?

- Да, непременно...

- Значит - увидимся... Давайте, я пожму вам левую руку. До свиданья!

- Вы извините меня? - беспокойно спросил Малинин.

- Э, боже мой! Ну конечно! И что случилось? Экий вы мнительный...

На улице Шебуев почувствовал, что этот тихий крик "Пустите руку!" звучит в его памяти, звучит и, проникая всё глубже в душу, будит в ней уже знакомое ему ощущение одиночества. Раньше ощущение это не тяготило его, а, напротив, только увеличивало его бодрость и уверенность в себе: он даже гордился перед собой тем, что одинок. Но теперь каждый раз, когда это чувство являлось, вместе с ним в душе Шебуева возникало злое пренебрежение к людям. Раньше он раздражал людей, не

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

желая этого, теперь он к этому стремился, хотя и сдерживал себя. Он знал, что в городе на него смотрят как "на человека с гибкой моралью, как на узкого практика, склонного к наживе. Это его обижало, и бывали минуты, когда ему трудно было скрывать в себе обиду. Он уже замечал за собою, что иногда, в спорах, он доводил свои взгляды до крайностей, не свойственных им и противных его чувству порядочности; он видел, что делает это намеренно, для того, чтоб раздражать людей, обидеть их. Он понимал, что усиливает подозрения против себя, укрепляет в интеллигентных людях отношение к нему как к человеку карьеры.

И он видел, как к тому, что он считал своей правдой, что вынес из непосредственного знакомства с жизнью и чем свято дорожил, уже примешивается нечто постороннее, чуждое ему, коверкающее его душевный строй. В этом он считал виновными людей, – это они своим недоверием к его искренности, своей сухостью в обращении с ним сеют в душе его темные зерна. В кружке Варвары Васильевны только она и Малинин относились внимательно и с искренним интересом к нему и его деятельности, хотя в этом внимании и чувствовалось что-то близкое к опеке. Хребтов, видимо, сторонился от него, Кирмалов рычал и тоже смотрел с угрюмым недоверием, а доктор уже не мог скрыть явно враждебного чувства.

С некоторого времени он заметил за собой, что ему хочется видеть в спокойных глазах Варвары Васильевны еще больше ласкового внимания к нему. Но, заметив это, он тут же сказал себе: "Рано...", хотя с этой поры стал чаще бывать у Любимовой.

Теперь, шагая по улице, он взвешивал в уме отношение публики к нему и свое к ней, пытаясь определить – кто кому больше портит крови? Он чувствовал желание сказать: "Я больше!.."

Шел он к Суркову, и его мысль всё чаще останавливалась на этом человеке. Неугомонная живость, смелость и горячий задор юноши – всё это нравилось Шебуеву, и в то же время он замечал, что с некоторого времени Сурков придирается к нему меньше, чем к другим, и не говорит таких резких дерзостей, как раньше. Это очень усиливало интерес Шебуева к "сущему декаденту", как звала юношу Татьяна Николаевна.

Остановясь пред крыльцом маленького домика в три окна с зелеными ставнями, Шебуев дернул ручку звонка и посмотрел на дом. В маленьком палисаднике перед его окнами густо разрослись сирень и акация; на крыше торчали три шеста со скворешницами. В фасаде, дома, окрашенном в коричневую краску, было что-то старчески приветливое и ласковое. Крыльцо, под деревянным навесом, гостеприимно подвинулось к самому тротуару тихой улицы, со множеством садов, а сзади домика росли огромные, старые липы, и ветви их осеняли крышу.

"Гнездо не по птице", – подумал Шебуев,

За дверью раздались неторопливые и твердые шаги. Щелкнул замок, и пред Шебуевым встал высокий старик с длинной белой бородой и большими неподвижными глазами.

– Вам кого? – глухо спросил он, глядя через плечо Шебуева на улицу. А выслушав ответ гостя, он прежде отхаркнулся и высунул голову на улицу и, плюнув, сказал: – Идите!

– Гурий Николаевич! Кто это? – раздался откуда-то сверху голос Суркова.

– Мужчина... – ответил старик.

Шебуев поднял глаза вверх и увидел в квадратном отверстии на потолке крыльца щетинистую голову хозяина дома.

– Здравствуйте, Владимир Ильич!

– А-а! Прекрасно! Идите в комнату, Аким Андреевич, – я сейчас...

Шебуев вошел в маленькую прихожую, половину которой занимал какой-то зеленый сундук, сбросил пальто и, видя две двери, спросил старика, стоящего сзади него, спрятав руки за спину:

– Куда идти?

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Куда хотите,- сказал старик, не двигаясь с места.

Архитектор шагнул в дверь направо и очутился в небольшой и светлой комнате, в которой было тесно от множества мебели, но уютно. У одной из стен стоял широкий диван, обитый черной матовой клеенкой, а перед диваном большой и тяжелый стол, заваленный картами и книгами, у другой стены возвышался до потолка старинный книжный шкаф. В простенках между окон висели какие-то ящики, полные медалей. В углу, около двери в прихожую, зияла черная пасть камина, и по всей комнате была разбросана мягкая мебель. Шебуев окинул глазами комнату и взял за спинку кресло, намереваясь сесть.

- Это не трогайте: у него нога сломана,- спокойно предупредил его старик, смотревший из прихожей.

- Так вы его вынесли бы! - посоветовал Шебуев, с улыбкой взглянув на старика.

- А куда?

- Ну, я уж не знаю.

- На чердак разве? - предложил старик.

- Хоть на чердак... а починить нельзя?

- Можно. Почему нельзя?

- Что ж вы не почините:

Старик взглянул на Шебуева и, отвернувшись, спокойно сказал:

- Я не столяр...

- Ага! - вскричал Сурков, проскользнув в комнату мимо старика.- Вы с Гурием Николаевичем беседуете? Душеполезное занятие... Гурий Николаевич, достопочтенный мудрец! Дайте нам чаю...

- Да они, может, еще не хотят? - сказал Гурий Николаевич, кивая головой на Шебуева.

- Хотят, хотят! Уж вы, пожалуйста, похлопочите...

- Хорошо,- согласился старик и ушел.

- Что это у вас...- начал было Шебуев.

- Это? Это - премудрый старикан! Это - самый умный человек в России, если хотите знать! По уму он даже и не русский: русские люди очень умными крайне редко бывают... они чаще талантливы, чем умны... Хотите, я вам расскажу несколько черт из жизни Гурия Николаевича Потютюшкина? фамилия единственный его недостаток, но в России нет звучных и красивых фамилий, и лучший русский поэт назывался Пушкин, что прилично разве только для бомбардира, а не для поэта... Вы извините, что я сразу так много говорю,четыре дня не выходил из дома и говорил только с Гурием Николаевичем. С ним говорить чрезвычайно поучительно и поэтому... ужасно скучно!

Сурков оживленно метался по комнате, отталкивая ногами и руками мебель, наконец подскочил к столу, с усилием приподнял его за край,- карты и книги поехали со стола и упали частью на диван, частью на пол.

- Это вы зачем? - спросил Шебуев.

- А сейчас старикан чаю принесет... поставьте некуда... Вы столкните с дивана всю эту чепуху... и усаживайтесь на ее место... Я - тоже... и мы будем беседовать. Знаете, чем я сейчас занимался? Делал скворешник...

Одетый в голубую шелковую рубаху и в курточку поверх нее, Сурков казался еще моложе, чем был. Он поглядывал на гостя приветливо, с любопытством и, видимо, был доволен, что Шебуев пришел.

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Нет, я не умею водворять порядок! - вскричал он, перестав толкать мебель и бросаясь на диван - Я рад, что вы пришли ко мне, Аким Андреевич! Это значит...

- Я давно хотел побывать у вас,- сказал Шебуев.

- А! вы не хотите знать, что значит для меня ваш приход? Ну, всё равно! Вы, наверное, правы!.. Но я боюсь, что вы пришли по делу, а?

- Отчасти - по делу, но больше - так себе, просто,- открыто глядя на него сказал Шебуев.

- Ах, это жаль! - недовольно сморщив лицо, воскликнул Сурков.- Но говорите, ради бога, сначала о деле, а потом уж так себе... В чем дело?

- Можно быть кратким?

- Необходимо!

- Хорошо!.. Как вы думаете поступить с деньгами, которые вам оставил покойник-отец?

- Фу-у! Я так и знал! - тяжело вздохнув, сказал Сурков, и на лице у него выразилось искреннее уныние.- С той поры, как отец умер, я, знаете, начал чувствовать себя раздетым донага и вымазанным медом... серьезно! Мне кажется, что по телу у меня ползают мухи, пчелы и разные другие насекомые... и люди все ко мне прилипают, желая меня облизать... и барышни смотрят на меня жадными глазами, точно я не человек уже, а какая-то конфекта, и они хотят меня съесть... Зубы у них стали острые... я их боюсь и - еду в Индию! Вы видите - книги и карты? Это английские карты, их тут на сорок рублей... Я три дня изучал их... потому что - еду в Индию. Вы думаете - я шучу? Нет, я серьезен, как принц уэльский. Прощайте! Я вам не дам ни копейки!

Сурков замолчал, с торжеством на лице взглянул на гостя и, видя, что он спокойно улыбается, спросил, нахмурившись.

- Вы, кажется, хотите показать, что ожидали от меня чего-нибудь в этом роде и не удивлены?

- Конечно, ожидал! - смеясь, воскликнул Шебуев.- А вы, кажется, думаете, что я собирался просить у вас денег для себя?

- Нет, я этого не думал! Никто не просит денег для себя: все желают иметь их для дела... Даже Кирмалов берет у меня деньги для каких-то земных ангелов, случайно попавших в проститутки... Покупает им на мои деньги машины, мужей и еще чего-то... Мужья деньги пропивают, бьют Егора палкой по голове... а он является ко мне и ругает меня буржум, советует сделаться дисконтером, открыть кассу ссуд и - черт знает что еще! Нет, я везу деньги в Индию!..

- Это хорошо, если вы серьезно решили,- сказал Шебуев, с удовольствием замечая, что юноша у себя дома держится лучше, чем при людях, и гораздо меньше остроумничает.

- Почему хорошо? - недоверчиво спросил Сурков.

- А потому, что вам полезно было бы поехать куда-нибудь.

- Да не в Индию же! - неожиданно и с искренним огорчением воскликнул Сурков.

Шебуев расхохотался. Юноша посмотрел на него и тоже начал смеяться, смущенно разглядывая свои ногти.

- Мне хочется ехать в Париж...- заговорил он, улыбаясь.- А Индия меня несколько не занимает... Я не люблю браминов, холеру, философию, жару и всё индусское...

- Поезжайте в Париж...

- Не поеду...

- Почему? Боитесь французенок?

- Нет, я боюсь, что для человека вредно делать только то, что ему нравится... Мне хочется уметь побеждать себя...

Шебуев быстро взглянул на него, - лицо у Суркова было раздраженное, глаза смотрели тоскливо и пальцы на руках сцепились как-то слишком крепко.

"Эге-е! Вот те и преданный холоп истинной свободы ума!" - воскликнул про себя Шебуев.

- Да, мне этого очень хочется! - сказал Сурков. - Вы что же не удивляетесь?

- Нечему...

- да?

- А чему бы?

- Я думаю... это не совсем похоже на меня?

- Я слишком мало знаю вас для того, чтоб ответить на такой вопрос, уклончиво ответил Шебуев.

- Однако бросим это! Вам на что нужны мои деньги?

- Мне не нужны... Я хотел вам предложить - не купите ли вы книжный магазин?

- На кой мне чёрт книжный магазин?

- Капитал поместите...

- Чепуха! Это Хребтову впору... а не мне.

- Хребтову не разрешат...

- А вы тут при чем?

- Я? Я думал так: ваши деньги дают вам процентов пять, не больше? Вложив их в магазин, вы бы удвоили ваш доход... а магазин сдали бы Хребтову в полное его ведение... Человек он солидный, дело знает. С настоящим владельцем ему трудно ладить. Вас всё это ничуть не стеснило бы... вы совершенно свободны, как и теперь. Получаете доход - и больше ничего!

- А вы? - вновь спросил Сурков, внимательно слушая гостя.

- Что я?

- Где же вы?

- Рядом с вами, на диване сажу...

- Это неостроумно. Нет, в чем тут ваш интерес?

- Хороший книжный магазин - дело весьма интересное...

Сурков с недоумением посмотрел на него и, пожав плечами, воскликнул:

- Чёрт вас знает, чего вы хотите! Но только я ни за что, никогда не поверю, чтоб вам... чтоб вы могли находить удовлетворение во всех этих ваших... деятельности! Вы должны быть умнее.

- Спасибо! Но, право же, я - человек практики, маленький человек... деловой человек. Надеюсь со временем убедить вас в этом...

- Не верю я вам! - сказал Сурков, отрицательно покачав головой.

- Лестное недоверие, знаете ли...

- Денег на магазин не дам...
- Ага... жаль!
- Будто бы это так безразлично для вас?
- Совсем нет. Я сказал – жаль. Мне было бы очень приятно, если бы вы дали денег. Книжный магазин в руках интеллигентного человека...
- Слушайте, Аким Андреевич! Не притворяйтесь! Ведь сразу видно, что вы умнее книжного магазина! Ведь вы вот не говорите мне убедительных речей на тему о том, что и я тоже должен внести каплю меда в улей культурной работы – или как это говорится?
- Не говорю, и не буду говорить...
- Почему?
- Вы тогда и в самом деле не дадите денег...

Сурков вскочил с дивана и почти гневно закричал:

- А теперь дам, вы думаете? Ни за что! Нет! Еду в Индию! Гурий Николаевич! – обратился он к старику, вошедшему в комнату с подносом. – Мы с вами едем в Индию...

- Хорошо, – сказал старик, ставя поднос на стол. – Укладывать белье?..
- Н-нет еще... А вот книги и карты надо бы убрать с пола... Впрочем, я сам...

Сурков опустился на колени и, поднимая книги, стал подавать их старику. Старик смотрел на него неподвижными глазами, принимал из его рук тяжелые томы и складывал их у себя на левой согнутой руке. Когда из них на его руке образовалась порядочная стопа, он сказал хозяину:

- Будет!

Повернулся и ушел.

- Станный у вас слуга! – заметил архитектор.

Сурков прыгнул на диван, уселся на нем с ногами и, наклонясь к Шебуеву, тихо заговорил:

- Заметили? Я говорю: "Едем в Индию!" Он совершенно равнодушно отвечает: "Хорошо!" Как это вам нравится? Вы знаете, с ним, чёрт его дери, пожалуй, в самом деле в Индию уедешь, а? Уложит чемоданы, придет и скажет: "Готово, едемте!" Ведь я тогда поеду... это очень возможно!

- Где вы его взяли? – смеясь, спросил Шебуев.

- На пожаре. Горел здесь в улице деревянный дом. Разумеется, собралась толпа зрителей, и впереди всех стоит, заложив руки за спину, высокий старик, с седой бородой. Его толкают полицейские, толкает публика, пожарные брызгают водой на него. А он, освещенный красным огнем, стоит, как монумент, и, не мигая, смотрит странными глазами, Я тоже смотрел на него, и мне ужасно хотелось понять – о чем думает старик? Вдруг, знаете, несколько бревен с верху дома отрываются и летят вниз. Публика шарахнулась прочь, но улица поката, и горящие бревна катятся по земле за ней. А старик повернулся к ним задом и, не торопясь, идет прочь от них. Головня вот-вот ударит его по ногам. Ему кричат: "Беги! беги, старик!" А он себе идет потихоньку и руки всё за спиной держит... Я смотрю в лицо его – ни страха, ни ужаса! Головня, разгораясь от движения по земле, настигает его... Я подскочил к нему, схватил за ворот и потащил за собой, Оттащил в сторону, кричу: "Какого вы чёрта не бежали?" И вдруг он, с великолепным таким видом, говорит мне: "Я – стар, чтобы бегать для вашей потехи! А что вы меня позорно за шиворот влекли, так этот ваш поступок я предлагаю рассмотреть господину мировому судье нашего участка. Мы, говорит, с вами в одном участке живем, и я вас знаю..." Вот чёрт!

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Ужасно он мне понравился... Ну, и познакомился я с ним... Интересный человек! Совершенно ко всему равнодушен и обо всем так здраво судит, что, я вам скажу, - удивительно! Прожив с женой, - женат был дважды, - прожив со второй женой четыре года, он десять лет тому назад разошелся с ней, и как? Великолепие! Усаживает ее против себя и говорит; "Так как я взял тебя замуж для взаимного нашего удовольствия, а ты уже завела себе жандарма, то, значит, тебе нет надобности жить со мной, да и мне после жандарма ты совсем неприятна". Хорошо, а? Отдал ей половину всего, что имел, и выгнал вон... Это даже красиво, а?

Сурков рассказывал очень оживленно, но в этом оживлении его гость чувствовал что-то механическое, даже искусственное. Глаза юноши против обыкновения не прищуривались и не метали веселых и задорных искр. Широко раскрытые, они смотрели устало, невесело и как бы безмолвно спрашивали о чем-то.

- Да, это умно, - сказал Шебуев, когда Сурков кончил рассказ и вопросительно взглянул на него.

- Это просто и красиво! - с настойчивостью произнес Сурков и начал пить остывший чай медленными глотками. Выпив стакан, он шумно швырнул его на блюдце и вдруг спросил Шебуева;

- Вам скучно?

- Почему? Нимало!

- Наверное, скучно... Вы ведь уж, конечно, заметили, что я... поблек?

- У вас действительно настроение неважное... кажется...

- А нравится вам равнодушный старик с неподвижными глазами? Старик, который ничему не удивляется, ничто его не волнует... он всё понимает и ничего не ждет... Нравится?

- Ну, нет...

- Мне нравится... Я завидую старику... Быть равнодушным может только животное или мудрец... Старик - не животное...

- Сколько вам лет? - спросил Шебуев.

- Двадцать шесть... дальше?

- Рано вам начинают нравиться старики...

- "Как вам не стыдно и так далее в такие годы, с вашим образованием и прочее... Еще работы в жизни много и тому подобное!..." Я знаю всё, что вы можете мне сказать, Аким Андреевич.

Сурков вскочил с дивана, прошелся по комнате и, остановившись перед Шебуевым, заговорил, весь вспыхнув:

- Когда российский порядочный человек начинает развивать свое мирозерцание - его речь имеет вкус деревянного масла с мухами. Если вы не знаете, до какой степени это противно - возьмите когда-нибудь летом лампадку от образов и загляните в нее - вкус масла, настоянного на мухах, прекрасно познается зрением. Деревянное масло - это порядочность, мухи убеждения либеральных людей. Вот почему русские порядочные люди скверно пахнут... Но до сего дня я не слыхал от вас этого запаха... А... вы знаете, что я начал водку пить?

Закончив свою речь этим неожиданным вопросом, Сурков отвернулся от гостя и стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карманы и высоко вздернув голову. Шебуев был несколько оглушен его выходкой и заговорил не сразу.

- Я, по совести сказать, давно и внимательно присматриваюсь к вам, Владимир Ильич, - с недоумением разводя длинными руками, начал он, - но не могу понять источника вашего... ну, озлобления, что ли?

- Да, я злюсь! - вскричал Сурков. - Я злюсь, потому что меня тоже считают

порядочным человеком!

Он снова остановился пред гостем и, наклонясь к нему, со злым блеском в глазах, отдельно проговорил:

- Пор-рядочный человек?! Слышите, как это звучит? Ведь оскорбительно! Ведь в самом слове "порядочный" чувствуется снисходительное презрение...

Сурков схватил кресло, с шумом пододвинул его к себе, сел и, наклонясь к лицу Шебуева, продолжал:

- Вы... вы вряд ли понимаете меня! Вы за что-то уцепились и живете уверенно... Куда вы идете - чёрт вас знает! Я знаю всё, что вы делаете... и прекрасно вижу, что вы умнее всего, что делаете. Откровенно говоря... я вам ни крошечки не верю! Извините! Чем богат...

- Ничего! - спокойно сказал Шебуев.- Вы не стесняйтесь... Я ведь знаю ваше отношение ко мне...

- Знаете? Гм... ну, всё равно! Между нами нет общего - вы строите, я хотел бы разрушать... но мы оба не принадлежим к числу порядочных людей и можем говорить откровенно. Вы, я говорю, живете уверенно... хотя вы не узкий человек... А вот я - никак не могу начать жить! То я изучаю карту Индии - на кой мне чёрт Индия, скажите пожалуйста? То я делаю скворешники, а Гурий Николаевич красит их. Скворешники тоже не нужны, ибо интеллигентный человек должен заботиться об устройстве гнезд для людей, а не для скворцов... Шляюсь я с Егором по разным трущобам и там испытываю ужас за человека. Егорка очень доволен этим и даже пророчит мне, что из меня со временем выйдет... порядочный человек! А я именно потому не могу начать жить, что не хочу выродиться в порядочного человека... Я боюсь превратиться в порядочного человека, - вы понимаете? Все порядочные люди - это идейные мещане... Порядочность - мещанский идеал. Порядочный человек образуется из платонического почтения к великим реформам и скрытой боязни будочника... Порядочный человек обязан склеивать себе убеждения из передовых статей либеральных газет, и хотя такие убеждения не отличаются прочностью, но шелестят, как шелковые... Когда, полуголодный и оборванный, он жил среди товарищей-студентов, он целыми днями жрал книжки, и по ночам его кусали думы о воплощении в жизнь разных высоких идеалов. Но уже на пятом курсе его товарищи стали казаться ему идеалистами и начали нравиться англичане. Самая культурная нация на земле! Только они одни неуклонно, постепенно, шаг за шагом, улучшают жизнь. Все они едят ростбиф, пудинги, пьют джин и виски, и каждое поколение всё увеличивает порции. Примерная нация! Сбросив с себя мундир студента, он из уважения к Англии шьет себе клетчатый костюм и идет на службу в одно из учреждений, созданных эпохой великих реформ, причем присваивает себе звание скромного культурного работника. Когда он судит кого-нибудь, то обнаруживает прекрасные познания в вопросах морали, но если возьмет у вас книгу для прочтения, то уж не возвратит ее никогда! о, никогда! Он твердо знает, что позорно бить прислугу по морде при свидетелях и безнравственно обманывать жену более двух раз в год. Он вешает у себя в квартире портрет любимого писателя, которого читал однажды, еще будучи мальчиком, тыкает в него пальцем, говоря с умилением: "Это мой учитель!" отчего портрет коробится и линяет... Эпоху великих реформ он уважает искренно потому, что без великих реформ ему на земле было бы совершенно нечего делать. Великие реформы увеличили культурную массу, то есть создали клиентов и пациентов, а также и учреждения, в которых порядочные люди за известный оклад производят культурную работу. Преобладающее настроение порядочного человека скромно-кислое... но в пьяном виде он непременно вспоминает свою alma mater и со слезами кричит; "Gaudeamus igitur", после чего обнаруживает желание дать кому-нибудь в зубы, но редко позволяет себе делать это, а обыкновенно едет к девочкам... Он не прочь получить небольшую конституцию или хотя бы маленький орден. Всю жизнь хвалит англичан за их умение быть культурными и искренно любит ростбиф... В голове у него парит такой строгий порядок, что хочется сунуть туда палку и перемешать мозги... Но будет! Я устал, вы - тоже...

Сурков резким движением отвернулся от Шебуева и, скорчившись в кресле, нервно застучал пальцами по его ручке.

Шебуев задумчиво молчал. В окна комнаты смотрело вечернее солнце. Было тихо и грустно.

- Соблаговолите изречь что-нибудь...- проговорил Сурков, не оборачиваясь к гостю.

- Что я скажу? - спросил сам себя Шебуев и, помолчав, хлопнул себя по коленям ладонями длинных рук.- Нарисованный вами порядочный человек... букашка противная... это так... Но у меня нет вашей непримиримости... нет этой остроты чувства... Вы, кажется, смотрите на жизнь эстетически... я проще и грубее... Человек я черный.

- Вы не... откровенный человек...

- А может быть...

Сурков вдруг повернулся к нему и раздражительно крикнул:

- С какой это чёртовой высоты вы смотрите на людей? Откуда у вас эта снисходительная нота в голосе?

- Что вы? - удивленно спросил его Шебуев, поднимаясь с кресла.

- Я? Действительно, я... кричу... Вы извините, однако... Скучно, как во чреве китовом... Вокруг какая-то теплая слизь... Вы не сердитесь, пожалуйста... у меня нервы, должно быть...

Он стоял перед Шебуевым, опустив голову, и в его позе было что-то очень трогательное и милое.

- Я не сержусь... Меня просто нервозность ваша поразила... Ну, надо идти...

- Пойдемте гулять?

- Пойдемте!

- Вот хорошо... Я сейчас оденусь...

Он уже сделал движение, чтоб уйти, но Шебуев взял его руку и, потянув к себе, с ласковой улыбкой спросил:

- Так деньги-то вы дадите?

Сурков взглянул на него с недоумением и вдруг расхохотался.

- Нет, вы молодчина! Ей-богу!..

- Давайте-ка! Что дурить? Дело хорошее...

- Ах, чёрт возьми! Я дам... дам... Ведь вы, впрочем, знали, что дам?

- Не совсем... не был уверен...

- Ну что уж скромничать! Так я дам деньги... Но - я даю не потому, что вы убедили меня в пользе дела, и вообще не из каких-либо высших соображений, а только потому, что это мне выгодно...

- Я вас не убеждал,- спокойно сказал Шебуев,- вы сами дали...

- Сам?

- Ну да! Я предложил - вы согласились...

- Чёрт вас возьми! А ведь верно! Нет, вы... человечек любопытный!

Смеясь, он ушел одеваться. А Шебуев, оставшись один в комнате, заложил руки за спину и, подойдя к ящикам с медалями, висевшим на стене, стал их рассматривать, тихо и спокойно посвистывая. Один из ящиков висел криво,- он его поправил и, отступив на шаг, взглянул - верно ли? Оказалось, что теперь ящик висит прямо. Тогда архитектор снова шагнул вперед и снова начал свистеть и рассматривать

медали.

- А! - воскликнул Владимир Ильич, являясь в дверях.- Заинтересовались жетонами? Мой папенька лет десять собирал сии знаки. Я называю их бронзовыми улыбками истории... Тут есть очень любопытные жетоны. Вот этот выбит в память победы Нельсона под Абукиром... Это - объединение швейцарских союзов... А знаете что? Одеваясь, я подумал про вас: "Вот человек, который, имея миллионы, мог бы чёрт знает чего настроить!"

- Н-да,- усмехаясь, сказал Шебуев,- кабы мне этак миллиона четыре...

- Представьте себе, что я именно о четырех миллионах думал! - вскричал Сурков.

- Могу это представить... Даже знаю о чьих...

- Нет, серьезно?

- О лаптевских...

- Верно! И знаете, что я думал? - спросил Сурков, с острым любопытством разглядывая спокойно улыбавшееся лицо архитектора.

- Знаю...- сказал Шебуев.

- Почему бы вам не жениться на Лаптевой?

- Вот именно! И представьте себе,- Шебуев вынул из кармана часы и взглянул на них,- вот уже с лишком три часа, как я всё думаю - почему бы мне не жениться па Лаптевой?

Сурков отступил от него, и, щелкнув пальцами, с удовольствием вскричал:

- Вот это остроумно!

Серые глаза архитектора юмористически прищурились, на переносье образовалась резкая морщинка, и он спросил своим сиповатым голосом:

- А ведь я совсем не похож на порядочного человека?

- О, нет! Вы... умнее...

III

Петр Ефимович Лаптев был человек здоровый, румяный и круглый, как шар. Быстрый в движениях, всегда веселый, всем довольный, он занимался торговлей хлебом и ростовщичеством. Он очень любил музыку, не пропускал ни одного концерта, а когда в город приезжала опера, то брал на все спектакли кресло первого ряда. Слушая арию Ленского пред дуэлью или проклятия умирающего Валентина Маргарите, он плакал - хорошая музыка всегда вызывала у него слезы на глазах. А разоряя людей - он шутил и смеялся.

Говорили, что, когда закадычный друг Петра Ефимовича - Трунов - стоял перед ним на коленях, умоляя его обождать с протестом векселей, Лаптев положил ему руку на плечо и задушевным голосом сказал:

- Э-эх, Миша! Разве я не знаю, что разорю тебя вдребезги? Знаю, друг! А отложить протеста не могу, Не потому, что в деньгах нуждаюсь, а потому, что было мне видение во сне насчет твоих делов... Явился будто покойный отец твой, Никифор Савельич, и одет он, братец ты мой, во всё черное. Лик у него этакий копченый и пахнет будто бы от него серой и чадом... И говорит он мне таково строго: "Петр, говорит, Христом богом прошу тебя - пусти Мишку по миру! Забыл, говорит, Михайло про отца, совсем, говорит, запамятовал, ровно бы отца у него и не было. Так ты, говорит, Петр, разори его, нищим будет - родителя вспомнит, тогда, небось, помолится за меня". Вспыхнул тут он, отец-то твои, синим огнем и исчез.

Трунов был объявлен несостоятельным и заключен под стражу, где вскоре и умер от огорчения. Всё время, пока товарищ сидел в остроге, Лаптев аккуратно два раза в неделю посылал ему по бутылке малаги, которую тот очень любил.

Вообще Петр Ефимович любил пошутить, и случалось, что шутки стоили ему очень дорого. Пожертвовал он как-то раз колокол полиелейный в одну из бедных городских церквей. Привезли этот колокол на церковный двор, поставили на клетки и уже хотели поднимать, как вдруг видят, что вместо изображения святых на колоколе вылита что-то совсем непохожее. Рассмотрели, и оказалось, что это изображение самого Петра Ефимовича. А внутри колокола нашли выбитой такую надпись: "Слава купцу Петру Лаптеву, слава!" Хотя церковный причт и был в хороших отношениях с Петром Ефимовичем, но всё же по городу пошел шум о купеческой шутке, и, чтобы заглушить этот шум, Лаптев долго звенел мощной.

Любил Лаптев и покутить, любил женщин и всегда имел одну - а то и двух - на содержании. Добывал он их в Москве в кондитерских и швейных магазинах, купит девочку, привезет ее к себе в город, устроит ей квартиру и аккуратно каждую субботу и среду посещает ее. А когда она ему надоедала, он ее или другому любителю передавал, или просто стращал полицией, и девочка сама уходила от него. Среди купечества Лаптев почетом не пользовался. Как с денежной силой, с ним, разумеется, считались, даже побаивались Петра Ефимовича, но от дружбы с ним сторонились, считая его "фармазоном" и скандалистом. Он же относился к купцам с явной насмешкой и презрением.

- Дикие люди! - говорил он про них. - Ничего не понимают! После шампанского селедку могут жрать... А которые и благочестивы, так это оттого, что трусят согрешить...

В огромных комнатах у Петра Ефимовича на стенах висели картины масляными красками, изображавшие голых женщин; на подзеркальниках стояла бронза, и вообще было много блеска, резавшего глаза. В зале стоял дорогой рояль и несколько музыкальных ящиков.

Зимой у него часто собирались гости. Это были артисты местного театра, судебные приставы, разорившиеся помещики и даже просто какие-то странные личности.

Они говорили басами, могли очень много пить и есть, с наслаждением и счастливо играли в карты, и хотя фигуры у них были гордые, а манеры благородные, однако они не обижались, когда хозяин в глаза называл их "шушерой". Бывали и женщины - артистки из театра и еще какие-то вдовы, всегда немножко подкрашенные, шикарно одетые и очень веселые. Все эти люди, собравшись в доме большой и шумной толпой, пили, ели, пели, танцевали и играли в карты целые ночи напролет.

Жена Лаптева - Матрена Ивановна - и его единственная дочь, Надя, учившаяся в пансионе, конечно, стояли в стороне от этой жизни, у них в доме была своя половина. Матрена Ивановна давно уже махнула на мужа рукой и лишь иногда с сокрушением говорила кому-нибудь из своих подруг:

- Слышала, матушка, мой-ёт кобель жирный опять новую мамзельку привез себе? Привез, мать моя, привез, бесстыжий! Уж помяни ты мое слово - оберут они его, мамзельки эти, ох, оберут! Растрянжирит с ними весь капиталишко...

Но она почти не вмешивалась в жизнь мужа. Она любила покушать, попить чайку, помолиться богу, у нее была своя компания из таких же, как она сама, пожилых и благочестивых купчих: она смаковала с ними наливки, ездила по монастырям на богомолья и тоже нескудно жила.

Петр Ефимович относился к жене с насмешливой почтительностью. Когда она начинала обличать его зазорное поведение, он с улыбкой слушал ее и молчал до поры, пока она не надоедала ему, а когда надоедала, то говорил ей:

- В рассуждениях ваших, благочестивая Матрена Ивановна, как в скрипе тупой пилы, никакой музыкальности, смысла нет... Каким таким идеям можете вы научить меня, человека современного, если у вас в голове нет никакого строя? Слушать вас я могу только из великодушия и моей гуманности, но так как вы мне уже надоели...

Он топал ногой в пол и, указывая на дверь, зычно кричал жене:

- М-марш на задний стол к музыкантам!

Она уходила, ругаясь. Иногда Лаптеву некогда было говорить красноречиво, и он

говорил просто:

- Ты, кулебяка! Пошла к черту! А то...

Она уж не дожидалась конца его речи...

А Надя жила под надзором фрейлен Гаген, рижской немки, рекомендованной содержательницей пансиона, и которым Надя училась. Это была девица лет сорока, высокая, толстая, с большим красным носом. Она прекрасно говорила по-русски, даже без акцента, и тоже очень любила покушать и выпить домашней наливки. С Матреной Ивановной у нее установились прекрасные отношения. Старуха почему-то назвала немку феней и хотя сначала всё доказывала ей, что она некрещеная еретица и ежели не окрестится в русскую веру, то после смерти попадет в ад, но скоро привыкла к ней до того, что, даже отпуская ее от себя к Наде, напутствовала:

- Уж ты скорее там, Феня, скучно мне без тебя... Не больно уж мучай девку-то... Что, в самом деле, ведь нам наука-то для приличия нужна, а не то, чтобы что... Мы люди не бедные какие. Для нас бы можно уж, чай, и не каждый день уроки-то задавать. Ты скорее, Феня.

И Феня никогда не заставляла себя долго ждать.

Шум и запах жизни, которой жил отец, проникал и в те комнаты, где жила Надя со своей подругой Лидой, сиротой, дочерью какого-то чиновника. Эту Лиду Лаптевы взяли в дом для развлечения дочери, которой было скучно жить одной. По ночам, когда мать и Феня засыпали, девушки, лежа в постелях, чутко прислушивались к музыке и шуму в комнатах отца. Вокруг них безмолвно вздрагивали тени от огня лампы, зажженной у образов, густой храп спящей немки мешал им спать и пугал их. А из комнат отца доносились взрывы смеха, звуки музыки, и девушки знали, что там светло, весело, нарядные барыни танцуют с ловкими кавалерами, и смеются, и поют песни... Воображение подруг возбуждалось, и они начинали шёпотом разговаривать о том, что делается в передней половине дома... И вот однажды они захотели увидеть в действительности эту сказочно интересную жизнь. Встав с постель в одних рубашках, они прикрылись одеялами и, выйдя в коридор, упростили бойкую горничную Сашу показать им, что делается у отца. Горничная спрятала их в темную комнату, где стояли шкафы с платьем, и указала им щель в переборке комнаты, под потолком. Девушки забрались на один из шкафов и увидели с него много такого, от чего у них краснели щеки, захватывало дыхание и по телу пробегала странная дрожь. С этой поры каждый раз, когда у отца собирались гости, обе подруги шли в темную комнату и сидели в ней на шкафе, с трепетом и жадностью глядя в отверстие, расширенное услужливой горничной, для которой было и приятно и выгодно доставлять барышням это удовольствие. Матрена Ивановна и Феня спали крепко, горничная была ловка, девочки осторожны, и ничто не мешало им наслаждаться созерцанием кутежей Петра Ефимовича. Наде в эту пору было пятнадцать лет. Лида была на два года старше ее. Однажды они видели и слышали такую сцену: отец Нади предложил одной из дам двести рублей за то, чтоб она, обнажив грудь до пояса, протанцевала русскую. Дама, высокая и стройная красавица, спросила за это пятьсот. Лаптев поторговался, но дал ей пять радужных бумажек. И тогда девушки увидели, как полуголая женщина плясала среди толпы мужчин, молчаливо смотревших на нее, и видели, как сверкали глаза мужчин. А потом, когда женщина, кончив пляску, остановилась среди комнаты, гордо подняв голову, они слышали страстный, оглушительный рев восторга... Они убежали, охваченные сильным, неведомым им чувством, и всю ночь не могли заснуть.

У девушек была своя большая комната. Матрена Ивановна позволяла дочери приглашать к себе подруг из пансиона, и подруги бывали у Нади каждый день по две, по три, по пяти. Всё это были купеческие дочери, полные, сытые, хорошо понимавшие силу денег. С ними являлись их братья - ученики гимназии и реального училища, краснощекие парни, курившие папиросы. Они приносили с собой коробки шоколадных конфет с ромом и ликерами и угощали барышень. Потом в зале играли в жмурки, танцевали, дурачились. Зимой Надя с подругами часто бывала в театре, на вечерах, пиновала на свадьбах, ходила на каток, ездила кататься на тройках, - все это разрешалось ей... В доме Петра Ефимовича Лаптева всем жилось весело.

И вот в разгаре этой жизни Лаптев умер от воспаления легких. Однажды в жаркий летний день, придя откуда-то домой разгоряченный и потный, он выпил квасу со льдом, а через пять дней после этого уже лежал в зале на столе, весь синий, раздувшийся, страшный.

Когда Петр Ефимович умер, его жена в ужасе всплеснула руками и закричала на весь дом:

- Батюшки! Что мы будем делать-то? Сироты остались горемычные, батюшки! Ограбят ведь нас теперь, обворуют нас, сиротиночек!

И уже потом начала с воем причитать по муже:

- Ра-азлюбе-езный ты мо-ой Пет-ру-ушечка-а! И на-а кого-о это ты по-окинул жену с до-очерью? Да уж и как теперь на-ам на све-ете жи-ить?

Знакомые слушали ее вопли и с одобрением говорили:

- Ишь ведь как убивается!

Надю смерть отца тоже страшно испугала. Когда из груди отца вырвался последний вздох и его жирное тело, вздрогнув, замерло, она широко раскрытыми глазами взглянула на его потемневшее лицо с раскрытым ртом, истерически завизжала и бросилась вон из спальни отца. Прибежав в свою комнату, она уткнулась там головой в угол и, охваченная дрожью ужаса, просидела так почти час. Потом, когда к ней пришла Лида и стала отпаивать ее водой, она, оглядываясь вокруг безумными глазами, начала шептать:

- Страшно! Страшно! Я тоже умру, Лида... ох! Спрячь меня...

По комнатам дома разливался заунывный вой Матрены Ивановны, бегала прислуга, и все звуки казались неестественно громкими,

- Спрячь меня, Лидочка, - дрожащим голосом просила Надя подругу, крепко обнимая ее. Лида с трудом вырвалась из судорожных объятий и убежала за доктором.

Пришел Петр Кириллович Кропотков, усадил Надю на кушетку и, сам усевшись рядом с нею, стал внушительно уговаривать девушку;

- Ай, ай, ай, какое малодушие! Разве можно так пугаться, разве это не стыдно? Человек должен спокойно выносить удары судьбы. Надо знать, что смерть - явление вполне законное и ничто живое не может избежать ее.

Высокая фигура доктора в изящном сюртуке, его красивое лицо с пышной бородой, твердый и самоуверенный взгляд его глаз - всё это постепенно успокаивало Надю, и уже вскоре она недовольно и тоскливо заметила ему;

- Как неприлично воеет мамаша!

А вскоре пришла портниха, чтобы спросить о чем-то по поводу траурных костюмов, потом явились подруги, знакомые, и все хотели знать, как умер Петр Ефимович, и всем нужно было рассказывать об этом. Лишь ночью, под тихое журчание голоса монашенки, читавшей у гроба псалтирь, Надя снова ощутила страх и задумалась об отце. С тяжелым недоумением в душе она задала себе вопрос - что же теперь будет, как эта смерть отзовется на ее жизни?

До этого дня она видела отца каждый день, но почти всегда мельком. Он называл ее Наденькой, иногда целовал в щеки, часто дарил ей красивые и ценные вещи, давал денег. Последние годы он говорил ей с усмешкой:

- А ведь замуж пора, Наденька? Хочется замуж-то? Погоди немножко, скоро я это дело настрою. Свадьбу-то какую сыграем - батюшки мои!

И он сладко прищуривал глазки. Надя не могла бы точно сказать хочется ей замуж или нет, но мысль о свадьбе всегда приятно раздражала ее. Свадьбы она очень любила, но никто из знакомых кавалеров не нравился ей. И, когда она думала, что после свадьбы необходимо жить иначе, чем теперь, в других комнатах, с другими людьми, а главное всю жизнь с одним из тех молодых людей, которые ухаживали за него, - ей становилось неловко, неприятно, и свадьба даже немного пугала ее. Из мужчин ей больше всех нравились студенты, гимназисты и юнкера. Они и веселые, и танцуют хорошо, и говорят просто, всё о таких приятных вещах - о подругах, прогулках, театре, некоторые даже пишут стихи...

- Чай, тебе уж нравится какой-нибудь этакий Евгений Онегин или, примерно, Ленский? - спрашивал отец.

Ей нравился и тот и другой, хотя она находила, что брюки у обоих смешные и даже неприличные. Нравился ей и Валентин, когда он ползал по сцене, проколотый шпагой Фауста. И вообще на сцене ей нравились все артисты, говорившие о любви громко и с такими отчаянными жестами. Она всегда приятно вздрагивала, когда влюбленный актер падал на колени перед возлюбленной, изо всей силы стучаясь костями по доскам сцены. Но, встречая их на улице или у отца, она видела, что щеки у них синие, под глазами метки, и что они во всем ведут себя, как самые обыкновенные люди, а водку пьют даже жаднее обыкновенных людей.

И на вопрос отца она однажды ответила:

- Никто мне не нравится... И все эти Онегины только из ложи хороши...

- Дурочка! Я тебя спрашиваю про настоящих людей, а не про актеров. Актер - он для увеселения живет, и нам до него нет дела... Я спрашиваю - не приглянулся ли тебе какой-нибудь маркиз Поза из купеческого звания?..

В то время из настоящих людей Наде нравился гимназист восьмого класса Рубанович, сын члена окружного суда, стройный юноша с маленькими черными усами. Он играл героев в любительских спектаклях и великолепно танцевал все танцы. Но Надя ни слова не сказала отцу про него.

В ней рядом с наивностью уживалось очень широко знание дурных сторон в людях. И теперь, думая об отце, она вспомнила, как однажды в церкви за всенощной Лида, указав ей глазами на красивую молоденькую брюнетку, шепнула:

- Новая твоего отца... Тоже Надей зовут...

Она посмотрела на девушку, и ей стало обидно за себя, - в ушах "новой" сверкали серьги из прекрасных рубинов. А она вот уже давно просит папашу купить ей рубины, но безуспешно. Ей всегда показывали содержанок отца, и они, красивые, роскошно одетые, часто вызывают у нее чувство зависти и недовольства отцом. Матрена Ивановна тоже при ней открыто обсуждала отцовы вкусы:

- Мой-ет кобель сменил свою толстую тетеху на фитюльку какую-то рыженькую... В раззор раззорят его, старого пса, девчонки эти...

В познании жизни Наде очень помогала подруга Лида. Она всегда всё знала о делах Петра Ефимовича и всё подробно передавала его дочери. Последнее время она ненавидела Лаптева и, не скрывая этой ненависти, с наслаждением рассказывала Наде о его похождениях.

Лежа в постели и чутко прислушиваясь к чтению псалтиря, Надя долго не спала, всё думая об отце, и наутро проснулась хотя печальной, но совершенно спокойной. За панихидами и во время похорон она много плакала, но уже на поминках снова была спокойна. Через несколько дней она с удивлением убедилась, что смерть отца не внесла в ее жизнь никаких перемен, кроме обязанности носить прекрасно сшитые, дорогие траурные костюмы. А еще через некоторое время она начала замечать, что все люди, начиная с прислуги и кончая доктором, стали относиться к ней как-то особенно, и это особенное отношение было очень приятно ей.

Доктор Кропотов, давно уже лечивший всех Лаптевых, после смерти главы дома стал ездить к ним аккуратно по два раза в неделю - в среду и в воскресенье. Всегда прекрасно одетый, он солидно входил в комнаты со шляпой в руке, внушительно здоровался с дамами и начинал озабоченно расспрашивать их о состоянии здоровья. Матрена Ивановна подробно рассказывала ему о том, как у нее "спирает дыхание и подкатывает под душу", он рекомендовал ей побольше ходить пешком и принимать прописанную в прошлый раз микстуру.

- Ну-с, а вы, Надежда Петровна, как себя чувствуете? - ласково обращался он к Наде, которая всегда чувствовала себя пред ним маленькой девочкой.

- Благодарю вас, я здорова, - отвечала она.

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Среднего роста, полная, с румяными щеками и высокой грудью, она действительно была девушкой очень здоровой и даже миловидной. Нос у нее был немножко широк, но свежие и полные губы, светло-голубые глаза и пепельно-русые волосы как-то скрашивали этот, не особенно заметный, недостаток. В ее круглом лице к светлых больших глазах было еще много чего-то детского, но она выучилась делать какие-то пренебрежительно капризные гримаски, часто во время разговора употребляла их, и они очень портили ее. Особенно обезображивала она себя, когда, нелепо выкатывая глаза из орбит, высоко поднимала свои красивые брови, тогда лоб ее становился узеньким, на нем являлись глубокие жирные складки, и всё ее лицо старело, принимая какое-то овечье выражение.

Разговаривая с доктором, она всегда покорно наклоняла пред ним голову и редко смотрела ему в глаза; эта покорность обыкновенно вызывала у доктора снисходительно-довольную улыбку. В первый же месяц после смерти Лаптева, в одно из воскресений, он, сидя с дамами за кофе, сказал Наде:

- Знаете что, дорогам Надежда Петровна? Вы бы могли употребить печальное время траура с большой пользой для себя... Вы теперь лишены возможности пользоваться привычными вам удовольствиями, и вам, наверное, скучновато? Так вот я хочу рекомендовать вам одни огромное и полезное удовольствие, даже, скажу, наслаждение...

- Ну-ка, Петр Кириллыч, в самом-ту деле, поучи-ка ее чему-нибудь, поучи! А то девка-то живет без отца... хоть он, покойник...

- Мамаша! - перебила Надя мать, готовую пооткровенничать с доктором. Опять вы начинаете... это даже неприлично!

- Я хочу, - продолжал доктор, - предложить вам - почитайте-ка вы немножко, а?

- Хорошо, я могу... - согласилась Надя и почему-то вздохнула.

- Я принесу вам хороших книг... Вы и займитесь вот с Лидией Николаевной...

- Я очень люблю читать, - с удовольствием сказала Лида.

- Только ты, батюшка, которые похабные - не носи, - обеспокоенно завозившись на стуле, сказала Матрена Ивановна. - И-и ни за что не надо! Вот у отца были с картинками на еретицких языках - срамота одна! Ты уж таких не носи!

- Мамаша! - строго крикнула Надя.

Доктор успокоил Матрену Ивановну и снова начал внушать Наде:

- Чтение хороших книг приносит человеку большую, даже великую пользу, оно, так сказать, пополняет пробелы образования...

Он говорил очень долго, а когда ушел, то Надя вскочила со стула и, с искренней тоской заломив руки за голову, вскричала:

- Ах, господи! Такой красивый, такой важный и ТАКОЙ скучный. Я даже вспотела вся от его разговора... Вот извольте теперь читать! Не буду! Он не имеет права заставлять читать! Книги не лекарство, да!

Но, подумав немножко, она предложила Лиде:

- Знаешь что, Лидочка? Ты, пожалуйста, читай и рассказывай мне... я тебе за это ротонду свою подарю, хорошо?

- Хорошо! - согласилась Лида.

- Это была стройненькая, быстрая в движениях фигурка, с маленькой головой в черных кудрявых волосах. Горбатый нос на ее смуглом лице придавал ей сходство с еврейкой. Ее тонкие красные губы улыбались всегда одной и той же острой, холодной улыбкой, но она никогда не смеялась. Глаза у нее были темные, миндалевидные. РНЗ их прищуривала, и, почти закрытые длинными ресницами, они не изменяли выражения ее худого и подвижного лица. В этом лице с полузакрытыми глазами было что-то неискреннее и неприятное, но когда Лида возбуждалась

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

чем-либо, ресницы у нее вздрагивали, в глазах сверкали огоньки, и лицо девушки казалось красивым. К подруге она относилась как старшая к младшей, к ее матери почтительно, но сухоовато, вообще же держалась в доме с большим достоинством. Одевали ее почти так же богато, как Надю, но именно потому, что ей перешивали Надины платья.

Кроме доктора, который скоро стал у Лаптевых необходимым человеком не как целитель недугов, а как лицо, достойное доверия, к ним часто забегал Эраст Лукич Ломакин, адвокат, большой приятель покойного Петра Ефимовича. Лысый, с утиным носом и маленькой острой бородкой, он был похож на паучка. Его тонкие и быстрые ножки всегда с каким-то особенным веселым вывертом выскакивали из-под его фрака и, колыхая, несли на себе приятно округленное, жизнерадостное брюшко. Его пухлые ручки неумоимо и с такой быстротой летали вокруг его круглого туловища, что казалось – у него их четыре и все они стремятся схватить в воздухе что-то видимое только для живых и веселых глазок Эраста Лукича, Эта черная, круглая и юркая фигурка производила крайне странное впечатление – точно Эраст Лукич однажды был охвачен неким вихрем, завертелся в нем и с той поры уже не может остановиться. Он давно вел дела Лаптева, вместе с ним кутил, считался другом дома, возил Наде конфеты, с Матреной Ивановной пробовал наливки и даже раскладывал ей замысловатый пасьянс, называя его "влюбленный Бисмарк и пьяный Бонапарт". Матрена Ивановна любила Ломакина, называла его Ерастушкой, но ни в чем не доверяла ему и даже однажды обратилась к доктору с такой просьбой:

– Петр Кириллыч! Будь отец родной – присмотри ты, бога ради, за Ерастушкой-то, как бы он меня с Надеждой не ограбил... Уж такой это, я тебе скажу, жулик, такой-то ли жулик, что даже и сказать нельзя...

Доктор нахмурился и строго сказал ей:

– Почтенная Матрена Ивановна, я должен вам заметить, что Эраста Лукича знаю вот уже несколько лет, и, скажу, знаю хорошо... Поэтому я решительно заявляю вам, что его нравственные качества не имеют ничего общего с вашими словами. Это человек легкомысленный, но вполне порядочный, он, если хотите, кутила, но знаток своей специальности... Впрочем, я исполню вашу просьбу!.. – совершенно неожиданно закончил доктор свою защиту Ломакина.

Неизвестно – следил ли он за действиями Ломакина по делам Лаптевых, но уже вскорости он заметил, что Эраст Лукич постепенно окружает Надю довольно странными людьми. К Лаптевым начал ходить Нагрешим, за ним явился молодой купец Редозубов, сын богатого мясника, известный в городе тем, что однажды подарил какой-то певице в Москве накладные на шесть вагонов мяса, привезенного им на продажу, был за это избит отцом до полусмерти и посажен в погреб, где высидел целые сутки. После этого он с месяц хворал, но тотчас же, как только выздоровел, стащил у отца три тысячи и вновь уехал к своей певице и снова был безжалостно избит. За Редозубовым явился Константин Васильевич Скуратов, бывший гвардейский офицер, помещик и страстный любитель голубиной охоты.

Приезжая в обычные дни с визитом, доктор наконец чуть не каждый раз стал встречать у Лаптевых всё новых лиц. Он видел, что все они внимательно ухаживают и за Матреной Ивановной и за Надей и каждый на свой лад старается обратить на себя исключительное внимание. Нагрешин учит мать и дочь играть в шестьдесят шесть, рассказывает им про убийства и грабежи, Редозубов изображает широкую русскую натуру, ходит в поддевке, в красной шелковой рубахе и смазных сапогах, порывается петь народные песни, но по случаю траура хозяева не позволяют ему этого. Скуратов страшно курит и, с какой-то особенной улыбкой поглядывая на всех, говорит о Петербурге, о голубях, о маневрах, а с Лидой о графе Монте-Кристо, графине Монсоро, шевалье де Мезон Руж и других знатных иностранцах.

Доктор, конечно, прекрасно видел, на что именно рассчитывают все эти люди, и счел своей обязанностью поговорить по этому поводу с Матреной Ивановной.

В один из своих визитов, сидя наедине с купчихой, он послушал ее пульс и озабоченно сказал:

– М-да... Есть маленькое возбуждение... Вам, знаете, надо бы жить более спокойно...

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Ох, надо бы, батюшка, надо бы! - сокрушенно вздохнув, сказала Матрена Ивановна.

- У вас последнее время так много, бывает гостей...

- Да, да! Вон сколько их развелось... Уж я смотрю да всё думаю ох-хо-хо! Что-то будет?

- То есть чего же вы от них ожидаете?

- Да ведь чего мне ждать-то? Мне ждать нечего... мне уж сорок восемь лет стукнуло... Надежда их это подманивает, ей с ними и валандаться... А народ-от всё ненадежный, голодный... в карманах-то едва на штаны хватает.

И Матрена Ивановна печально качала головой. Доктор погладил бороду, помолчал и, нахмурившись, усиленно внушительным голосом спросил:

- Сколько я вас понимаю, вы смотрите на них как на претендентов... то есть, проще говоря, как на женихов?

- Какие уж они женихи, окромя разве Митьки Редозубова... Этот хоть тоже шалыган, а все-таки человек купеческого звания...

- Гм! Теперь, знаете, купечество выдает дочерей не только за купцов, ко и за людей других классов. Однако не в этом дело; если и они вам не нравятся, то... зачем же вы их... принимаете?

- Да ведь не гнать же их, коли пришли они да и сели!..

- Не нужно было приглашать...

- Ну, уж я тут не виновата! Это всё Ерастушка натаскал их... Приведет какого-нибудь эдакого... "Позвольте представить!" Ну, тот пошаркает ногами по полу да и засядет. Народ-то они ничего ведь, занятные все такие, веселые... Только вот жениться-то хочется им, это мне опасно... И так-то ли беспокоино, господи Исусе! Поглядишь это на них - ласковые такие все... как коты... охо-хо!

Доктор простился с удрученной матерью и уехал очень задумчивый и недовольный.

Дня через два после этого он заехал к Ломакину и имел с ним такой разговор;

- Я, Эраст Лукич, хочу поговорить с вами откровенно как с человеком, скажу, высокоинтеллигентным, мнение которого для меня очень ценно...

Ломакин, летавший по своему кабинету, обставленному с легкомысленной роскошью, бухнулся в широкое мягкое кресло, весь засиял улыбками, завертел головой и, потирая руки, тенорком сказал:

- Покорнейше благодарю, любезнейший Петр Кириллович, за лестное мнение! Поверьте, что и я глубоко уважаю вас и в восторге от вашего ума и такта... хе-хе-хе!

Тонкий веселенький смешок был его привычкой. Говорили, что он однажды известил одну даму, свою клиентку, о смерти ее мужа в такой форме:

- Хе-хе! Я, извольте видеть, явился к вам с ужасно печальной вестью... ей-богу же! Трагическая весть!.. Супруг ваш неожиданно скончался, честное слово - хе-хе-хе!

И теперь он потирал ручки, посмеивался и, ласковыми глазами глядя на доктора, ждал его речи. Доктор собрал бороду в кулак, поднес ее ко рту и, вдруг раскрыв руку, сильно дунул на нее, отчего борода рассыпалась по его груди красивым веером.

- Я хочу поговорить с вами о Лаптевых, - предупреждающим тоном сказал он.

- Все ли они здоровы? - участливо осведомился Ломакин, сняв ноги с кресла.

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Все и совершенно. Но ведь вы сегодня были у них?
- Был... Недавно... хе-хе!
- А спрашиваете - здоровье... гм!
- Это от избытка симпатии к ним,- объяснил Ломакин с улыбочкой и снова бросил ноги на кресло. Доктор встал и молча прошелся по кабинету.
- Видите ли, в чем дело, Эраст Лукич... Ввели вы к ним этих... разных лиц...
- Воистину разных...- засмеялся Эраст Лукич.
- Так вот... Я не знаю, чем именно вы руководствовались, вводя их в этот дом...

Доктор замолчал. Но и Ломакин тоже не говорил ни слова:

- Но мне кажется, что влияние всех этих... лиц на молодую девушку может быть только отрицательным. Что они могут дать ей? Какие стороны ее ума могут развить? Как вы думаете?

Так как доктор спрашивал в упор, то Ломакин, пошлепывая себя по лысине левой рукой, ответил, как бы извиняясь:

- Я педагогическими целями не задавался, знакомя Наденьку с этой компанией... Траур, думаю себе, скучно девице... Ну, для развлечения ее и того... Представил ей... А вы уж сейчас прямо в корень - какое влияние? Я вам от всей души скажу, добрейший Петр Кириллович, что там, где вы, никакие другие влияния не могут иметь успеха - хе-хе! Не могут-с! И, видя вашу близость к семье моего покойного приятеля, я прямо говорю, что участь его дочери нимало меня не беспокоит... хе-хе!

- Благодарю вас за столь лестное обо мне мнение...- сказал доктор, приятно улыбаясь.- Но, право же, вы преувеличиваете мою роль в этой семье...

- А книжки-то? а? книжечки-то? - как мяч, отскочив от кресла, громко шепнул Эраст Лукич, а затем подбежал к доктору и, грозя ему пальцем, продолжал шепотом.- Ах вы пр-ропагандист, а? хе-хе! Шпильгаген? Лео? Ах вы агитатор!

Доктор немножко и снисходительно посмеялся и, вновь приняв вид солидной уверенности, сказал, пожав плечами:

- Право, я не считаю этого лишним... Я убежден, что книга-это сила огромная и что она всегда найдет читателя, куда вы ее ни суньте, и всюду, посеет свои зерна,- зерна правды и добра... не так ли?

- О, конечно! Кто же в этом сомневается? - свернув себе голову набок, вскричал Эраст Лукич.

- На лице у него выразилось что-то близкое к отвращению, и; очевидно, это чувство было адресовано тому, кто осмелился бы сомневаться в силе книги. Но тотчас же он задумался и тихо заметил:

- А все-таки глупенькая-то она оригинальнее!

- Кто? - с удивлением спросил доктор.

- Наденька...

- Н-не понимаю вас!..

- Миллион, завернутый в онучку, примерно... во что-нибудь эдакое незначительное, особый смак приобретает,- щелкнув пальцами, сказал Ломакин, Но снова он весь передернулся и схватил доктора за руки, торопливо говоря: - Шучу! Это я шучу! Нет, я ведь понимаю! хе-хе! Я очень хорошо понимаю! Разумеется, надо! Я ведь отчасти имел это в виду, когда знакомил ее с этими... Книги, конечно, очень важны... ну да! Но тут - живые люди! Купец, чиновник, дворянин... смотри и сравнивай! А? Нет, честное слово! Ведь это развивает? Сравнение-то?

- Вы, кажется, только сейчас придумали такое... шутливое объяснение? спросил доктор, и брови у него дрогнули.

- Какой пронзительный ум! - тихо воскликнул Ломакин, отскакивая от гостя и как-то комом падая в кресло.

Доктор глубоко вздохнул и, опустив голову, с минуту молчал. Эраст Лукич дергал себя за бороду, гладил свою лысину и с ожиданием поглядывал на гостя...

- Вы, Эраст Лукич, - заговорил доктор, - относитесь ко мне в данном случае недостаточно серьезно, как кажется, и, пожалуй, даже несколько недоверчиво...

- Не может этого быть! - возгласил Ломакин, всплескивая руками. Но было трудно понять - удивляется он словам доктора или протестует против них.

- Позвольте мне откровенно выяснить вам мой образ действий и причины, побуждающие меня действовать именно так.

- Да разве я не понимаю?

- Нет, позвольте! Надежда Петровна, являясь обладательницей такого огромного, даже, скажу, редкого состояния, представляет собою в данный момент могучую силу, хотя и потенциальную пока... Но она стоит на опасном пути... Будучи молодой и неопытной девушкой, она совершенно лишена, так сказать, чувства осознания добра и зла. Жизнь делится для нее на веселое и скучное, приятное и неприятное... Ей совершенно чужды культурные веяния современности, и она, т. е. ее капитал, даже может явить собою оплот против них. Выдет замуж за какого-нибудь кулака и заживет обычной жизнью богатой купчихи... в то время как ее капитал, под усилиями мужа, будет всё расти и давить людей своею тяжестью. Я, как вы знаете, не марксист и в росте капитала не могу видеть прогрессивного явления. И я думаю, что на обязанности моей, человека интеллигентного, с определенными принципами, лежит прямая задача - попытаться облагородить эту силу, попытаться дать ей направление, противоположное тому, которое она, предоставленная сама себе, естественно и необходимо должна будет принять. Вы понимаете? Я думаю, что купечество достаточно богато и без этих четырех миллионов... Как человек интеллигентный, вы должны понять мою простую мысль. Однако к моей попытке внушить Надежде Петровне интерес к чтению вы отнеслись... легко и шутливо, как мне показалось. Я думаю, что в интересах лучших стремлений жизни вы должны решительно встать на мою сторону...

- Аминь! - воздев руки к потолку, воскликнул Эраст Лукич, и всё его кругленькое личико так и задрожало. - Преклоняюсь перед вами! Вы меня устыдили! Вы меня просветили, честное слово! Я действительно шутил... но в этом, ей-богу, повинна моя проклятая фамилия. Что такое Ломакин? В словаре Академии Российской сказано: "ломаный - посредством ломания целости лишенный", - видите? Верю Академии, даже памятуя, что в ней на законном основании заседает известный князь Дундук, всё-таки верю! Да, я - человек, посредством ломания лишенный целости, но вы! Вы, Петр Кириллович, - целый человек!

- Я был бы чрезвычайно рад... - начал было доктор.

Но Ломакин вскочил на ноги и, не давая ему говорить, замахал руками, забегал, завертелся и оживленно закричал:

- Конечно! Я всё понял и всё уразумел! Дорогой Петр Кириллович, - как не понять? Ведь я и сам думал, что кабы эти денежки да в руки человека интеллигентного, со вкусом к жизни...

- Человека с определенными общественными задачами, - усталым голосом поправил его доктор.

- Именно! С задачами... э-э! Ведь я понимаю! Критически мыслящая личность, вооруженная знаниями, стремлениями и миллионами, - а? Я шучу, шучу! Ломакин - вот несчастье! Но всё же я понимаю, как сладко нашему брату откусить от купеческих капиталов четыре миллиончика! Это я понимаю...

Доктор ушел от игривого адвоката с чувством неудовлетворенности и смутного

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

беспокойства. И когда он уходил, а Ломакин провожал его, то доктору почему-то всё казалось, что Эраст Лукич приплясывает у него за спиной и строит ему рожи? Он несколько раз круто и неожиданно оборачивался к хозяину, желая проверить свое странное впечатление, но всякий раз встречал ясно улыбавшееся лицо хозяина. Оно сияло и сливалось вместе с лысиной в желтое блестящее пятно,

В следующий визит к Лаптевым доктор встретил в них Эраста Лукича, который явился только что перед ним и еще знакомил с гостями Акима Шебуева. Глаза Петра Кирилловича грустно мигнули, и вслед за тем его лицо приняло выражение сухое, строгое и обиженное.

Шебуева встретили у Лаптевых очень недружелюбно, и все сразу как-то подтянулись при нем. Нагрешин, увидав его входящим в столовую, где гости пили чай, даже закашлялся, а Редозубов застегнул поддевку и пересел на другое место, причем усы у него вздрогнули. Лишь Скуратов, уже давно знакомый с архитектором, здороваясь с ним, сказал, лениво и устало улыбаясь:

- И вы?.. Падают мои шансы...

Шебуев тоже улыбнулся в ответ ему. Кроме этих троих, около Нади вертелось еще несколько молодых людей, но все они были какие-то незначительные и уступали первые позиции Скуратову, Нагрешину и купчику. Скуратова выдвигала вперед его родовитость и светский лоск. Бравая, солдатски прямая фигура, барский тон речи, загорелое открытое лицо с пепельными усами и большие глаза, улыбающиеся красивой улыбкой, сразу привлекали к нему внимание. На лице у него уже было много морщинок, а в выражении глаз замечалось что-то усталое, ленивое, но коротко остриженные волосы были еще густы, а движения и походка обнаруживали много силы и грации. Скуратов знал, что он красив, и немножко рисовался. Своих намерений он не скрывал и держался у Лаптевых всех порядочнее.

Нагрешина выдвигала вперед его способность неустанно рассказывать анекдоты из судебной практики и та ловкость, с которой он ухаживал за Матреной Ивановной и Надей, всегда как раз вовремя подавая им коробки с конфетами, вазы с вареньями, платки. Его стройная фигура постоянно находилась в движении, он всегда извивался, как уж, на лице у него сияли улыбки, на мундире - пуговицы.

В молодом Редозубове было много удали лихого русского парня. Здоровый, сильный, искренний, он всегда готов был совершить что-то необычайное, нелепое и смелое, - эта готовность так и сверкала в его темных глазах. А все остальные люди, окружавшие Надю, напоминали своим скромным видом и беспокойной жадностью в глазах маленьких трусливых собачек, сидящих с поджатыми хвостами неподалеку от вкусного куска, около которого уже стояли, зорко насторожившись, три сильных пса. Они подвизгивали этим псам голодным, алчным визгом и, наверное, прекрасно понимали, что их ожидание безнадежно, что им ничего не перепадет, кроме трепки в возможном драке трех больших собак. Но все-таки они сидели и ждали, и подвизгивали, и, мучая себя, возбуждали аппетит сильных. Им стало еще более мучительно, когда они увидели, что явился четвертый большой и сильный пес, спокойный, уверенный в себе, с крепкими зубами и жилистыми лапами. Но, однако, у этих маленьких, робких собачек не хватило чутья для того, чтобы правильно сосчитать своих врагов...

А кусок - этот вкусный, жирный кусок - чувствовал, что его хотят сожрать, и это было лестно для него, он как бы поджаривался на огне общего внимания к нему и в сладком соку сознания своей притягательной силы.

Наде было лестно, но и тревожно, беспокойно среди этих людей. Они смотрели на нее с улыбками, и зубы их зловеще сверкали, а глаза блестели жадностью. Иногда она чувствовала себя раздраженной ухаживаниями и любезностями, ей становилось как сил приторно, и чувство острого беспокойства охватывало ее.

- Господи! - устало и тоскливо говорила она Лиде. - Сколько их собралось!.. И все-то, до одного, хотят жениться на мне!.. А хоть бы один был какой-нибудь такой... особенный, какой-нибудь... хоть бы негр, что ли? Только бы непохожий на них...

Тонкие губы Лиды вздрагивали от сдерживаемой улыбки, и, глядя сквозь ресницы в растерянное лицо подруги, она говорила:

- Зазнаешься ты...

- А если не негр... так хоть бы горбатый или сумасшедший какой...лежа на кушетке, мечтала Надя.

Но утомление быстро проходило, и Надя вновь наслаждалась ухаживанием за ней. Мать ее была совершенно подавлена вниманием и почетом со стороны гостей. Ходить она стала медленно, выпячивая живот, смешно надувала губы и, казалось, даже вспухла от важности.

- Ты чего, Лидушка, глазами-то хлопаешь? - сказала она воспитаннице как-то раз за ужином.- Прикармливай которого-нибудь... Вишь их сколько! Дадим за тобой хорошее приданое.

- Прежде Нади неудобно,- ответила девушка.

- Ну, что там за неудобство? Ты не сестра младшая... Это когда младшая наперед старшей выходит - нехорошо... А ты - чужая... Вон Скуратов-то как ластится к тебе...

- Мамаша! - спросила Надя,- кто вам из них больше всех нравится?

- О-хо-хо! Все они хороши... что-то только будет? И какой всё народ пошел разный да пестрый, ровно бы шуты в цирке... Господи помилуй! А хоть и разный и пестрый - все одинаково денежки любят, все к ним так-таки и льнут...

- Да не рассуждайте, мамаша! - с досадой вскричала Надя.- Я спрашиваю,- кто из них, по-вашему, лучше?

- Что ты, девка, на мать-то зыкаешь? Али это порядок? Не я невеста, чтобы женихов разбирать... Да и кто их разберет? Женихами-то они все норовят в ножки, а поженятся - в зубы да в шею... Вон пуцай Лидушка говорит.

Сначала Лида отказывалась сказать, кто из женихов лучше, но потом, опустив голову над своей тарелкой, сказала:

- Они все люди хорошие, но в мужья ни один не годится. Редозубов, как только женится, кутить начнет так, что небу жарко станет... Иван Иванович Нагрешин начнет жену, как собачку, манерам разным учить. "Ты-де чиновница, держи голову прямо". Скучно с ним будет! После свадьбы он уж не станет рассказами потешать, а будет серьезный-серьезный... И скоро растолстеет. Скуратов... этот лучше всех! Он тоже будет кутить и изменять будет, и все... лошадей заведет... Какую-нибудь вавилонскую башню начнет строить... Разорит и даже может прогнать жену вон...

- Ну уж, матушка,- с изумлением сказала Матрена Ивановна,- коли при таких-то качествах да он всех лучше... я уж и не знаю, что у тебя выходит!

Лида подняла немножко голову и объяснила:

- Он потому будет лучше, что дворянин настоящий...

- Какие там дворяне, коли шиш в кармане! - махнув рукой, сказала купчиха.

Лида помолчала и возразила ей тихим голосом:

- Надо, чтобы не только деньги в кармане, а чтобы и благородство в душе было...

Надя взглянула на нее и заметила:

- Это ты из романов...

А мамаша нашла еще поговорку:

- На что благородство, коли нет воеводства... старики говорили... Ну, а про доктора что ты скажешь, пророчица?

- Доктор? я бы лучше в погреб села, чем за него идти.

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

- Он красивый,- сказала Надя равнодушным голосом.

А Матрена Ивановна рассердилась и укоризненно стала качать головой:

- Ах, девка, девка! Совеем ты дурная! На-ко! Самого-то настоящего, который всех умнее,- швырь в сторону! Ду-ура! Он, гляди, лошадь хочет завести, а им всем кошку покормить нечем. Да кабы я,- я бы за него и вышла, потому лучше-то нет. С ним и под руку-то по улице пройти приятно. Мужчина видный, борода длинная, ходит степенно, ноги прямые... не как у Ерастушки, в разные стороны не играют...

- Он красивый...- мечтательно повторила Надя.

- А всего удобнее за Эраста Лукича выйти,- сказала Лида, не возражая на выговор Лаптевой.

- Он веселый,- глядя в потолок, заметила Надя.

- Да вы с ума спятили, девки! - всплескивая руками, сердито закричала Матрена Ивановна.- За такового-то плясуна? Ведь он плясун картонный! Лысый, губы мокрые - тьфу! И... оберет, уж непременно оберет, всю-то обчистит, как козел липку... Ах-ах-ах!

- Ему, кроме денег, ничего не надо,- продолжала Лида, не обращая внимания на старуху, которая, хотя и сердилась, но, видимо, была сильно заинтересована разговором.- Он жене полную свободу даст, живи, как хочешь, только денег ему дай...

- Так, так! Ах ты, еретица! Мысли-то какие, а? Свобода, а? Да разве бабе свобода нужна? Бабе нужно, чтоб ее муж любил, ду-уреха!

- Так уж всё только муж да муж... больше никакого удовольствия? Очень приятно! - усталым голосом сказала Надя и презрительно фыркнула.

- Надька! Какие это слова? Ах вы, распутницы...

- Не кричите, мамаша, у меня голова болит... А архитектор, Лида?

- Ну, этот... какой-то...- задумчиво заговорила девушка и вдруг вскричала, смеясь: - Вот тебе негр! Помнишь, ты негра-то хотела? Особенного-то?

- Не-егра? Господи Иисусе! - с удивлением и даже страхом расширив глаза, взвизгнула Матрена Ивановна.

- Что в нем особенного? - пожимая плечами, сказала Надя.- Разве только нос горбатый?

- Нос совиный... Нет, а ты мне, дочка милая, скажи, какой это тебе негр понадобился, а? Что вы, девки...

- Мамаша! Отстаньте вы, Христа ради... тут и без вас голова кругом идет! Поймите вы, пожалуйста, что ведь не капусту мы покупаем...

Надя раздраженно вскочила со стула, с шумом оттолкнула его и в волнении забегала по комнате.

- Ну, взъерепенилась! Что нос совиный, так это верно, нечего на меня кидаться, матушка моя, да! А что человек он степенный - это при нем и остается. Уж коли кто доктору под статью, так это он... хоть и некрасив... Человек здоровый, все говорят это...

- Он не особенно некрасив,- поправила Лида.

- Серьезный уж очень...- сказала невеста и вслед за тем почти с отчаянием крикнула: - О господи! Зачем так много людей на свете?!

Они сидели за огромным столом на тяжелых дубовых стульях с высокими спинками. Бронзовая лампа, спускаясь с потолка, освещала только большой круг на столе и в этом круге разные тарелки с мясом, соленьями, рыбой, консервами. Только пища

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

была облита ярким светом лампы, все же остальное в комнате покрывала тень. Дубовые стены, дубовый потолок и пол, темные материи на дверях и окнах – всё это замерло в тяжелой неподвижности, всё это было прочно, чудовищно, велико и как бы поглощало собою свет. И, как только женщины отклонялись от стола, их тоже обнимала собою тень...

К концу траура они, под влиянием постоянного присутствия в доме чужих людей и разговоров о них, дошли до состояния почти полной растерянности, до утраты сознания своих личных желаний и интересов. Каждый день у них кто-нибудь бывал и каждый день внушал им что-либо. По воскресеньям все женихи являлись целой стаей и ухаживали, говорили любезности, смеялись, курили невесте и се матери фимиам. У женщин кружились головы, они чувствовали себя приятно опьяненными, возбуждались, веселились, и эта шумная жизнь охватывала их всё крепче. Доктор предлагал выписать книги – и являлись груды книг. Ломакин продавал им какую-то бронзу и картины – они покупали и то и другое. Им предлагали ехать кататься на пароходе – они собирались и ехали кататься, не отдавая себе отчета в том, приятно это им или нет. В общем суета и веселая суতোлка нравилась им и чем далее, тем глубже всасывала их в себя. И уже им становилось скучно, когда в доме не было гостей.

Шебуев держался у Лаптевых особняком и хотя уверенно, но слишком уж как-то серьезно для компании, окружавшей его. Говорил он немного, а любезностей совсем не говорил. Чаше всего он являлся к ним со Скуратовым и беседовал с ним больше, чем с другими. Это было не особенно выгодно для него, ибо Скуратов своей бравой фигурой еще резче оттенял его угловатость и неуклюжесть. Кроме Скуратова, все женихи относились к архитектору сухо и подозрительно. Являясь к Лаптевым, он обыкновенно садился куда-нибудь к сторонке и оттуда, с маленькой улыбочкой на губах, следил за всеми. Его присутствие вносило в веселую компанию некоторое стеснение, женихи постоянно то тот, то другой оглядывались в его сторону, как бы безмолвно приглашая и его принять участие в их острословии и во всем, чем они пытались завоевать исключительное внимание Нади, которая жеманничала и портила себе лицо гримасами. Но Шебуев сдержанно молчал, а когда начинал говорить о чем-нибудь, то вскоре разговор принимал направление совсем не свойственное женихам и мало понятное для Лаптевых.

В глазах доктора Кропотова архитектор окончательно упал. Случилось это так: однажды у Лаптевых собрались только четверо – доктор, Шебуев, Нагрешин и Эраст Лукич. Между доктором и Нагрешиним, при веселом участии Ломакина, завязался разговор о Скуратове. Нагрешин с большим усердием рассказывал о жизни Скуратова в Петербурге, в полку, очень живописно изображал его кутежи, высчитывал его долги и в заключение воскликнул:

– Такой породистый человек и – представьте, не нынче – завтра нищий! Именье у него назначено в продажу... но оно не в состоянии покрыть и одной пятой его обязательств. Ведь у него их свыше двухсот тысяч! Мне его, ей-богу, жаль!

– Какое доброе сердце у этого юноши! – возводя глаза в дубовый потолок столовой, воскликнул Ломакин.

– Жаль? – с сомнением сказал доктор. – Не понимаю этого чувства по отношению к разорившемуся в кутежах барину! Жалеть мужика, у которого пала лошадь, жалеть рабочего, которому машина оторвала руки и тем лишила его единственного средства к жизни, – это я могу! Но гвардейца, скажу, гвардионца – за что жалеть?

– Вот как должен говорить человек с принципами! – воскликнул Эраст Лукич. – Не речь, а сталь, честное слово!..

– Ну, знаете, все-таки... – снисходительно говорил Нагрешин. – Он человек порядочный... такой перелом, как необходимость бросить все привычки, выработавшиеся в течение сорока двух лет...

– Разве он такой старый? – протяжно и капризным голосом спросила Надя. Говорить так она начала недавно в наивном убеждении, что это очень красиво.

– Иван Иванович лишку накинул шесть лет... он щедрый парень! – сказал Ломакин.

– Ах, вы о физических неудобствах говорите? – презрительно заметил доктор.

– Тут и психика задета...

- Дворянская психика? - спросил доктор.

- Ну да... гонор этот и все...

- Мне, скажу прямо, глубоко противна эта спесь людей, отпоенных рабской кровью, - с презрением на лице и в голосе сказал доктор.

- Носив сало, посив мак - ось тоби як! - громко шептал Ломакин на ухо улыбавшейся Наде.

- А вот я, - раздался сиплый голос Шебуева, - к дворянам слабость питаю. Психика лучших представителей этого класса возбуждает у меня что-то вроде зависти к ним, - зависти, смешанной с почтением. В ней, видите ли, много того, что называется благородством, много высоко и тонко развитого чувства собственного достоинства, врожденного отвращения ко всякой пошлости и подлости... И эта дворянская гордость, инстинктивное чувство, наслоившееся в продолжение десятилетий, порою придает дворянину высокую духовную красоту. Вспомним декабристов. Прекрасные были люди! Уже одно то, что барину трудно быть холопом, для меня очень ценно. А в нас, плебейх, жилет инстинктивное холопство, вбитое барской рукой в нашу внутреннюю суть. И оно так глубоко вросло в плебея, что, даже и поднявшись на высоты культуры, он вносит туда с собою холопские чувства... Если мы посмотрим на современного плебея на высоте, в роли человека, облеченного властью... мы все-таки увидим в нем много общего с волостным старшиной... И если в чем плебей перевешивает патриция, так чаще всего в жадности ко благам материальным... А насчет крови, которую из нас выпили дворяне... это дело прошлое, утрата невозвратимая. Это - забыть пора уж... и даже полезно забыть... Вредно человеку помнить, что он был рабом...

- Вы говорите что-то... ужасно странное! - с недоумением пожимая плечами, воскликнул доктор. - Вы демократ по крови... и вдруг такое, скажу... удивительное, унижающее вас суждение...

- Да ведь это суждение не одного меня унижает... если только оно унижительно, - спокойно улыбаясь, говорил Шебуев. - Вижу я недостатки крупные в плебейской психике и не хочу закрывать на них глаза. А у нас на этот счет слабо... демократу всякое снисхождение, аристократа - суди по всей строгости. А надо как раз наоборот. Снисходительное отношение к демократу может только портить его... Он в жизни - молодое лицо, и, ежели с ним построже обращаться, ему это преползненно будет... А дворян надо предоставить их исторической участи и не мешать им испаряться... но капитал их, лучшее в их психике, необходимо присвоить и усвоить. Чувство человеческого достоинства развито у них прекрасно, и именно в нем, по-моему, основа того, что зовется аристократизмом... Я даже прямо скажу, что демократия должна стремиться к аристократизму в его лучших свойствах.

- Отказываюсь понимать вас! - сказал доктор.

- Да-а, - протянул Нагрешин, всё время пристально смотревший на архитектора, - суждение чрезвычайно... оригинальное... Почему дворянин должен обладать каким-то особенным благородством психики?.. Не понимаю!..

- Это, однако, легко понят, - говорил Шебуев. - Я, видите ли, думаю, что психика-то в большой зависимости от химии. И отсюда полагаю, что человек, питавшийся всегда великолепно, рожденный от людей, тоже всю жизнь употреблявших хорошую, питательную пищу, обязательно должен был наесть себе некоторые особенности. Наверное, химизм мозга у человека, который ел хорошо, отличается чем-нибудь от мозга мужика, всю жизнь потреблявшего ржаной хлеб с мякиной да картошку и прочие злаки... фосфора, что ли, там больше, кровь, пожалуй, почище...

- Кость белая... - вставил доктор.

- Да, и кость, надо думать, особенная. Ведь дворянин-то не только хорошо ел, а и белье носил тонкое и в комнатах жил чистых да высоких...

- А то, однажды, я сочинил такой экспромпт, - громко шептал Эраст Лукич, занимавший дам. - Говорили о правде, а я, знаете, и бухнул:

Правду сравнивают с солнцем;

Я на солнце вижу пятна,

И запятнанная правда

Мне, ей-богу, неприятна...

Хе-хе-хе!

- Как это хорошо! - громко сказала Надя. А Матрена Ивановна жирно засмеялась и ласково сказала Ерастушке:

- Ах ты, игрун ты забубенный!

- Как человек, знакомый с физиологией... - возмущенно говорил доктор.

- Верно, Аким Андреевич, - вдруг крикнула Лида, - дворяне всех благороднее и честнее...

- Что такое? - встрепенулся Ломакин. - Пойдите, Лидия Николаевна, почему дворяне честнее?

- А потому и честнее, что все герои - дворяне... Атос, Портос, Арамис, д'Артаньян...

- Вот-с! - сказал доктор Шебуеву, красивым жестом руки указывая на Лиду. - Всего больше дворянство давало Атосов и Портосов.

- Тургеневых и Сен-Симонов, Чаадаевых и Байронов...

- И эта ваша... пищевая теория совершенно не объясняет, почему же купечество, которое тоже ест много и хорошо, не пополняет рядов интеллигенции?

- Подождите, пополнит! Оно еще вчера явилось из деревни, и не только его деда, а и отцы мякину ели... Из его среды уже выскакивали и Боткины и...

- Нет, извините, но ваш демократизм вызывает у меня недоумение...

- Это называется пессимизм! - объяснял Эраст Лукич Лиде. - И я по этому поводу тоже однажды сказал экспромпт:

Кто в тридцать лет не пессимист,

А в пятьдесят не мизантроп,

Тот, может быть, душой и чист,

Но идиотом ляжет в гроб!

- Батюшки, страх какой! - сказала Матрена Ивановна с неудовольствием, махнув рукой на Ломакина. - Ну те к шуту, Ерастушка!

- Позвольте! - вскричал Нагрешин. - Я это читал! Эраст Лукич, это было напечатано!

- Как же, как же! Было! Я ведь в юности печатал кое-что... как же, хе-хе-хе!

- А где это было?

- В "Вестнике Европы"... за-а... кажется за тысяча восемьсот восемьдесят шестой год.

- Это было помещено в сборнике автографов, изданном в пользу голодавших в девяносто втором году, - сказал Шебуев.

- А-а? Значит, перепечатали? Ну что ж? Я не претендую.

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru

И Эраст Лукич вновь обратился к дамам.

Спор доктора с Шебуевым прекратился, прерванный экспромтом Эраста Лукича, но с этой поры доктор, ранее относившийся к архитектору хотя и холодно, но внимательно, стал смотреть на него с снисходительным сожалением и здороваться с некоторой небрежностью.

Когда Кропотов сообщил у Варвары Васильевны о том, что Шебуев тоже начал посещать дом Лаптевых, Малинин заметил, что на женщину это произвело неприятное впечатление, а сам он, наоборот, почувствовал удовольствие при словах доктора. И ему тотчас же стало стыдно пред собой за это чувство, захотелось сказать о Шебуеве что-нибудь хорошее.

- Наверное, его привлекает туда любопытство,- сказал он доктору.

- Гм... Я думаю, что он слишком практичен... для того, чтоб к этому любопытству не примешивать некоторых надежд,- ответил доктор.

- Как он держится с Лаптевой? - спросила Варвара Васильевна.

- Должен сказать, что более прилично, чем остальные претенденты на ее руку... Но он и не сумел бы держаться так, как они... В нем нет этой... гибкости... хотя в суждениях он крайне эластичен... В нем нет легкости ума, умения ухаживать... этих кавалерских способностей...

- Я не могу подозревать его в желании жениться на Лаптевой,- сказал Малинин, но в голосе его не звучало уверенности.

Чуть-чуть улыбнувшись его словам, Варвара Васильевна спросила:

- Почему же?

И пожала плечами.

- Он должен быть выше этого...

- Вы говорите - должен быть,- внушительно отметил доктор.

- А Петр Кириллович уверен, что не выше,- сказала Любимова своим спокойным голосом.

- Доктор не любит его... доктор вообще не любит людей,- взглянув ей в лицо тихо произнес Малинин, точно доктора и не было в комнате.

- Благодарю вас за это мнение...- с усмешкой сказал доктор.

- Вы не сердитесь... ведь это правда. Я думаю, что вы уважать способны... может быть... но любовь... это тяжело для вас.

Малинин говорил тихо, ласково и смотрел в лицо доктора с неотразимой прямоотой. Варвара Васильевна засмеялась:

- Вот беспощадный человек!

А доктор взял свою бороду в кулак и сумрачно сказал, не глядя на Павла Ивановича:

- Я вполне согласен с определением этого... певчего Кирмалова... Сурков делает свои дерзости с перцем и с уксусом, а вот Павел Иванович со сливками и сахаром. Но результат одинаков - на них никто не реагирует...

- Вы сердитесь, доктор! - предупредила его Варвара Васильевна.

- О, нет! Нисколько,- с местом, которым он как бы отстранял что-то от себя, возразил доктор и стал прощаться. Но Малинин не отставал от него. С обычным грустно-задумчивым лицом он пожимал руку доктора и говорил ему:

- Вот вы сейчас сказали - "этот певчий Кирмалов"... Кирмалова зовут Егор

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Максимович, и он очень хороший человек. Зачем вам нужно говорить о нем пренебрежительно – "этот певчий"?

– Я извиняюсь пред вами за Егора... Максимовича Кирмалова, – сказал доктор, осторожно освобождая свою руку из руки Малинина.

Доктор ушел, Малинин и Варвара Васильевна остались одни в небольшой, просто меблированной комнате с двумя окнами в сад. Хозяйка сидела за столом, разливая чай, Малинин против нее на низком и широком диване, обитом темной клеенкой. Против него, за спиной Варвары Васильевны, вся стена была занята полками, на которых тесными рядами стояли книги. На верхней доске полки помещались чьи-то бюсты и два пучка ковыля, большие и пышные. Маленькое круглое зеркало на одной из стен и какая-то гравюра в простенке между окнами тоже были окружены пышными рамами из ковыля и засушенных растений. Кроме большого стола, за которым сидела хозяйка, в комнате было несколько кресел, круглый стол у окна, на котором лежали альбомы и стоял в широкой черной раме портрет какой-то кудрявой девушки. Хозяйка была одета в темное платье, красиво облежавшее ее статную фигуру, и, задумчиво откинувшись на спинку кресла, перебирала в руках свою тяжелую косу. А Павел Иванович, облокотясь на стол и подпирая голову рукой, смотрел через раскрытое окно в сад, где бесшумно вздрагивала листва сирени.

Приближался вечер, из сада пахло свежим листом, сырой землей, иногда доносился еле слышный полувздых, полужёпот.

– Вам было неприятно слышать то, что говорил доктор о Шебуеве, произнес Малинин, не отводя глаз от окна.

Варвара Васильевна подняла голову и, взглянув на него, тихонько вздохнула.

– Вы спрашиваете или утверждаете? – спокойно и негромко осведомилась она.

– Утверждаю...

– А! Да, мне было неприятно... Я не люблю, когда о человеке говорят худо... мало зная его...

– Не только поэтому... Вам особенно неприятно, когда о Шебуеве говорят нехорошо...

– Вы заметили?

– Да. Он нравится вам...

– Вы правы...

Лицо у Малинина дрогнуло, и он с минуту молчал. Потом вдруг повернулся к ней лицом, поставил оба локтя на стол и, сжимая виски ладонями, нервно заговорил:

– Но если так, то зачем же вы не хотите привлечь его ближе к себе? Зачем вы не хотите влиять на него, указать ему, что он во многом ошибается, рискует сбиться с пути... зачем он ходит к Лаптевым? Вы должны сказать ему это... потому что, я знаю, – он послушает вас... Вы... такая сильная... спокойная...

Варвара Васильевна сильным взмахом головы перекинула свою косу за спину и ласково сказала:

– Павел Иванович, голубчик, не надо быть неискренним...

– Почему вы... думаете, что я говорю неискренно? – воскликнул Малинин, опустив глаза под мягким взглядом женщины.

– Ах, я же не маленькая! Разве можете вы искренно желать, чтоб мое отношение к Шебуеву...

– Не надо говорить об этом! – тихо попросил Малинин.

– Вот видите... У вас есть стремление мучить себя... – это лишнее и болезненное, нужно избавиться от этого...

- Я не мучаюсь... Я просто хочу ускорить... событие, которое должно сделать вас чужой для меня...

Варвара Васильевна вздохнула и с грустью посмотрела на него, говоря:

- Это не так... Я чувствую, вы надеетесь на что-то... Милый Павел Иванович, право же, ничто не может измениться! Я знаю себя... И снова говорю - не могла бы я быть для вас хорошей женой... Я простой рабочий человек и совсем не умею отвлекаться от работы в ту область, где живете вы лучшими свойствами вашей души... Вы - поэт, мечтатель... жизнь для вас как-то не интересна... вы окрашиваете действительность в мрачные цвета и ищете яркого и радостного вне действительности. Вы хороший человек... но что же между нами общего? И на чем мы могли бы сойтись, подружиться? А ведь мужу и жене необходимо подружиться... Любовь пройдет, уважение плохо греет, а жизнь холодна все-таки... И надо подружиться для того, чтобы долго жить вместе и не чувствовать себя лишними друг для друга, а у нас вышло бы повторение басни о коне и лани... Вы именно трепетная лань... пугливая такая...

Она замолчала, а на лице ее дрожали грустные, тени.

- Как я люблю, когда вы говорите! - тихо сказал Малинин, глядя на нее с тоской в глазах.- И как вы всегда правы... Это верно, я не люблю жизнь... Что такое жизнь? Когда о ней говорит Шебуев, она является у него то какой-то метафизической сущностью, то живым и нервным идолом, чудовищем, которое охвачено безумным стремлением быть совершенным, как бог, и почерпает силу стремиться - в жертвах ему, в жертвах людьми. Я не понимаю этого, не понимаю жизни... Какая это жизнь, когда нет красоты в людях, когда человек жалок и бессилён и лучшее его желание не поднимается выше желания видеть всех людей равно сытыми и... равно умными? Я не вижу смысла в жизни... И уверен, что чем умнее будет человек, тем горше будет ему на земле... Счастье было возможно только в прошлом... когда жизнь была ярче, сил у человека было больше... когда все любили одеваться в цветные платья... А теперь стала одноцветна, как осеннее небо... Я не знаю, чего можно ждать... Но я вижу, что чем более живет человечество, тем более видит вокруг себя и в себе самом грязи, пошлости, грубого и гадкого... и все более хочет совершенного, красивого, чистого... Откуда же можно ждать счастья? Еще Екклезиаст говорил, что "кто умножает познания - умножает скорбь"... Шебуев говорит, что жизнь прекрасна... Он не знает ее... Он ослеплен ею...

- Ну, мне кажется, что именно он-то и должен знать ее! - сказала Варвара Васильевна.

- Что такое жизнь? Это сумма моих впечатлений... не больше! воскликнул Малинин, вскакивая с дивана. Он тоскливо заметался по комнате и, отбрасывая руками волосы, падавшие ему на глаза, продолжал говорить:

- Шебуев видел, как нищий разделил с другим нищим свой последний кусок хлеба. И вот он кричит: человек добр! жизнь прекрасна! Я не могу так кричать... Я вижу только двух нищих, которые хотя и поели, но все-таки оба голодны... Кирмалов говорит, что ему стыдно каждый день есть, ибо он знает массу людей, которые не могут этого... Я думаю, что это смешной стыд и только... Хребтов полагает, что если все рабочие объединятся в ассоциации, то на земле наступит царствие божие... Я думаю, что все рабочие - это такое же нереальное и неуловимое умом, как человечество, общество... Я знаю только человека и нахожу, что ему становится нечем жить, как только он начинает спрашивать себя о том - как жить? чем жить?..

Он замолчал, ткнулся в кресло у окна и высунул голову на воздух в сад.

В комнате зазвучал ласковый и мягкий голос женщины:

- Вы знаете, - я не умею говорить о таких мудрых вещах... Моего сердца и ума как-то не трогают эти мысли... а было время, когда я их считала совершенно чуждыми человеку, выдуманными им для красоты... и даже для оправдания своей пассивности. Теперь я знаю, что они нужны, они действительно украшают жизнь и дерзость их плодотворна для нее. Но всё же они чужды мне... Я верю, что люди могут быть счастливы, знаю, что я должна работать для их общего счастья, и мне приятно работать. Как можно жить иначе? Я не представляю себе... Мне приятно

Мужик. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru

толковать гимназисткам русскую историю, приятно объяснять рабочим в воскресной школе строение человеческого тела... Я даже как-то по-детски рада, когда вижу перед собой эти славные, пылливо сверкающие глаза и думаю о том, что настанет время и эти глаза увидят многое такое, что пока недоступно им. Они будут наслаждаться книгой, как я... и музыкой... И всё, что мне дает хорошие минуты, даст и им... Это славно! Быть может, моя радость – действительно только радость нищего, который делится с товарищем своим куском... быть может! Но это – радость... и я ею дорожу... Я для того, чтоб испытать ее, пойду на многое... Вот и все мое...

Малинин встал с кресла грустный и бледный и с жадностью в глазах сказал ей тихо;

– Какая вы... простая! И я... я бы тоже на многое пошел... для вас!

– Нет, вы не пойдете... – грустно ответила ему женщина.

Он рванулся к ней... Но в это время за дверь спросили:

– Можно войти? Можно?

И, не дождавшись разрешения, в комнату вошла Татьяна Николаевна. Лицо у нее сияло, она задыхалась от волнения или усталости и как только явилась в комнату, то сейчас же восторженно и торопливо заговорила:

– Варя, Варя! Что я нашла! Павел Иванович, я была у вас... вы мне нужны! Ах, милый Павел Иванович, как я рада! Варя, какой он смешной, нелепый.

– Кто это? – улыбаясь, спросила Варвара Васильевна, обнимая старушку за талию и пытаясь усадить ее на диван.

– Это вы про меня? – удивленно осведомился Малинин, еще бледный от волнения.

– Подожди, Варя! Не тащи меня никуда! Я сейчас всё расскажу... по порядку... Павел Иванович! Какие у меня есть стихи!

Она бегала по комнате, зеркало отражало ее фигуру, и казалось, что всё в комнате как-то ожило, повеселело.

– Вы сами написали стихи? – засмеялась Варвара Васильевна.

– Ах, дайте же мне сесть!

Татьяна Николаевна птичкой вспрыгнула на диван и, вытащив откуда-то измятый кусочек серой бумаги, с восторгом потрясла им над головой.

– Вот – видите? Это – стихи!

– Ага-а! Еще один Кольцов? – нервно смеясь, воскликнул Малинин.

Одной из маленьких слабостей Татьяны Николаевны была ее страсть находить Кольцовых. Открывала она их штук по десяти в год, и все они действительно писали стихи. Как она находила их – это было известно только ей, но около нее был всегда какой-нибудь парень, которого она величала поэтом из народа, одевала его, кормила, учила грамоте и всячески баловала. В большинстве случаев избалованный и захваленный ею поэт из народа важно выпячивал губы, поднимал нос кверху, надувался сознанием своей исключительности, как дождевой гриб влагой, и терял всякую охоту и учиться, и работать, и даже стихи писать. Проживая у Татьяны Николаевны, он кушал и спал, а в свободное от этих занятий время ухаживал за ее горничной Женей, тоже поэтессой. Когда Татьяна Николаевна убеждалась, что талант поэта окончательно затек жиром на ее хлебах, она с искренней грустью говорила:

– Это я испортила его, это я виновата!

Один из таких самородков взломал у нее шкаф и утащил серебряный подстаканник и ордена ее мужа. Но иногда под ее руководством из поэтов вырабатывались очень славные парни. Они уже не писали стихов, по русской литература едва ли много теряла от этого, жизнь – несомненно выигрывала, ибо в ней увеличивалось количество людей твердых духом и упорных в своей жажде правды, а Татьяна

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Николаевна говорила о них со слезами радости на глазах. Но всё же она сердилась, когда ей напоминали о неудачах с поэтами. И теперь, в ответ на слова Павла Ивановича, она вся встрепелулась и затрещала своим бойким язычком:

- Ска-ажите, как важно! "Еще один Кольцов!" А я говорю - выше, чем Кольцов... и уж во всяком случае не чета вам с вашей лирикой, пессимизмом, восходами и закатами солнца, гирляндами грез, цветами души и прочей звонкой мишурой - да-с! Что - хорошо я вас отбрила? Так вам и надо! Вы... вы чужой человек в жизни... вы ей чужой!

- Миленькая Татьяночка, не будьте жестокосердной! - подходя к ней и ласково положив ей руку на плечо, сказала хозяйка.

- А зачем он смеется! "Кольцов"! Ведь это он воспекает сладость разочарования в людях... ему нравится быть разочарованным, а мне - нет!

- Вы уж слишком очарованы... - сказал Малинин тихим голосом.

- Ну и пускай! Я влезла, мне и падать... Только я, кроме могилы, никуда не упаду... а в могилу мне еще рано... я еще долго-долго буду жить и назло всем пессимистам стану кричать с Шебуевым: "Жизнь прекрасна!" Вот вам!

- Да прочитайте стихи-то! - попросила Варвара Васильевна.

- Ах, нет! Я прежде расскажу всё... Хожу я вчера по базару... купила мяса, овощей и ношу на руке корзиночку... Вдруг говорят мне: "Барыня, дайте я поношу!" Смотрю - юноша... оборванный, худой, коленки голые, глаза большие, лицо грязное. Глаза - огромные... половина лица - всё глаза! Смотрят так прямо... Лицо самое мужицкое, простое и милое... Я его и спрашиваю: "Ты кто? Ты почему такой? Ты голоден? Ты откуда?" И оказалось...

Веки Татьяны Николаевны вдруг покраснели, а из ее живых глазок одна за другую полились крупные светлые слезы. Они сбегали по морщинам ее щек, и от этого лицо ее стало еще более радостным и сияющим.

- Он идет из Вятской губернии в Москву учиться. Ему восемнадцать лет, и он учился в земской школе... Он идет третий месяц, пешком идет, оборванный, голодный... снег и грязь на дороге... он просил под окнами Христа ради кусок хлеба... Он и в школу убежал против воли родных... Его ругали и били за то, что он хотел учиться. Он говорит: "ничего, что били! А я вот - иду! И я ведь знал, что встречу кого-то... какого-то человека, который мне во всем поможет!" Вы понимаете - он знал! Он верил, что кто-то ему поможет... Эта вера в кого-то... Это великая вера! Вы поймите... вы подумайте! Идет из Вятки в Москву пешком, через леса, по грязным дорогам, голодный, полуголый человек, томимый жаждой знания, идет и верит, что кто-то ждет его, кто-то поможет ему!.. Вы поймите - ведь это он в нас верит!

- Татьяночка! Не волнуйтесь так! - сказала Варвара Васильевна, любовно приглаживая своей красивой рукой растрепавшиеся седые волосы на голове старушки.

- В этом волнении - лучшее жизни, Варя! Я упиваюсь им, как живой водой... а ты говоришь - "не волнуйтесь!" Разве можно видеть человека, воскресшего из мертвых, и не волноваться радостью?.. Я привела его к себе... Его зовут Яков... Послала его в баню, одела... Сегодня утром за чаем он подает мне вот эту грязную, милую бумажку и говорит: "А я вот стихи написал! Поглядите-ка..." Я взяла стихи и прочитала... расцеловала его, опрокинула все на столе, разбила чашки...

Она смеялась, а слезы всё брызгали из ее глаз...

- Вот стихи! - вскричала она, расправляя измятую, исписанную карандашом бумажку:

В непросветной глуши

я родился и рос...

Много видел я зла,

Много видел я слез!

В муках сердца я жил,
Рвался к свету, страдал
И в борьбе за себя
Не погиб, не упал...
И теперь я хочу
Моим братьям помочь:
Их стеснила собой
Непроглядная ночь,
Оковали их жизнь
И нужда и порок.
И не знают они,
Как мир божий широк,
Как хорош человек,
Как велик наш народ,
Как все быстро кругом
К свету, к правде идет!
Мой несчастный народ!
Долго ль биться тебе
И себя изнурять
В неустанной борьбе?
Сколько силы в тебе
Сокровенной лежит!
Да на горе твое
Воля смелая спит!*

Изнуренная возбуждением, Татьяна Николаевна безмолвно опустила руку и замерла в неподвижной позе, с ожиданием глядя в глаза Варвары Васильевны.

Малинин молча подошел к Татьяне Николаевне, вынул из ее руки бумажку со стихами и стал рассматривать крупные буквы на ней, написанные карандашом. На его губах играла неопределенная улыбка и в лице было что-то недоверчивое. А Варвара Васильевна села на диван рядом с Ляховой и, взяв ее руки в свои, заговорила:

- Мне понравились стихи... славно это сказано. "Как мир божий широк! Как хорош человек!"

- Не правда ли, - радостно встрепенулась Татьяна Николаевна. - Теперь уж настоящий поэт! Я чувствую - настоящий! Я слышу детский, ликующий крик... Маленький русский мальчик рос в непросветной глуши и ушел из нее, повинувшись влечению к свету... Увидел свет и радостно закричал: "Как хорошо!" Но сейчас же вспомнил, что сзади него остались в глуши скованные нуждою и тьмой другие русые мальчики, и затосковал о них... Как это хорошо, что он и в радости своей вспомнил о других, как хорошо!

Мужик. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

-----* Стихи эти написаны крестьянином Нижегородской губернии Новиковым, парнем 18 лет, учившимся в земской школе. Новиков служит рабочим на огороде в одном поместье губернии.

- Вы, Татьяночка, только уж не хвалите его, не балуйте!

- Не буду! не буду!.. Я его... не оставляю у себя... Мне это будет обидно... но не оставляю! Павел Иванович!.. Ну, что же вы? Хорошо? У него есть талант?

- Это трудно сказать... Стихи написаны... неумело, конечно... но в них действительно есть что-то...

Малинин говорил нерешительно, небрежно и вдруг, стиснув бумажку в руке, обратился к Варваре Васильевне:

- Мне жалко этого... поэта! Вот он будет читана книги. И чем шире станут раскрываться его глаза, тем более тесным и узким он увидит божий мир... Скоро он узнает, что и человек не так хорош... и совсем не быстро всё кругом идет к свету и правде... Узнает он интеллигенцию и сначала почувствует, что она чужда ему... потом увидит, что она бессильна и ничего не может дать ему, кроме противоречивых теорий и гипотез... Наконец, он спросит себя - где правда?

- И пускай спросит, и пускай увидит всё в настоящем свете! - задорно закричала Татьяна Николаевна. - И пускай страдает! Что за важность, если человек страдает? Достоевский страдал в каторге и написал "Мертвый дом"... И многие другие люди украсили жизнь страданием своим... И уголь чувствовал боль, когда из него создавался алмаз...

- Вы хотите приготовить еще одну жертву жизни?.. Хорошо. Но я желал бы понять, кого же насыщают этими жертвами.

- Ах, право же, я подарю вам револьвер! - раздраженно воскликнула Ляхова.

- Я сам куплю, не трудитесь. Но вы не ответили на мой вопрос - кто выигрывает оттого, что жизнь пожирает людей?

- Жизнь! - сказала Варвара Васильевна спокойно и серьезно.

А старая Ляхова, утвердительно кивая головой, добавила:

- Да, жизнь! Потому что она от этого становится все разнообразнее, быстрее, интереснее. Малинин тихонько засмеялся.

- Нет, право же, это Шебуев заразил вас - жизнь! жизнь!

- Шебуев? что ж? Когда он говорит, что жизнь надо любить, - он прав!

- Да что такое эта жизнь? - воскликнул Павел Иванович.

Старушка вскочила с дивана и сказала с дрожью в голосе:

- Я - не знаю... Я прожила пятьдесят лет и так страдала! Какие страшные минуты, часы и дни и даже годы переживала я... Смерть дочери... потеря мужа... арест и смерть сына моего... сына! Но я прожила бы еще пятьдесят, еще сто лет и готова вдвойне страдать... А если я узнала бы, что моей старой кровью можно еще ярче окрасить идеал, - я умру хоть сейчас...

Она стояла среди комнаты, и по блеску ее глаз, по дрожи морщин на ее лице Малинин видел, что она действительно готова умереть хоть сейчас, если узнает, что это надо... Он смотрел на нее и молчал.

- Что вы скажете? - спросила его Варвара Васильевна, с любовью и гордостью в глазах указывая рукой на Татьяночку, тоненькую и стройную, как девушка.

- Ничего не могу сказать... - тихо произнес Малинин, пожимая плечами. Но порою мне, знаете, кажется, что между героем и рабом есть что-то родственное... Да и вообще пружины, двигающие человеком, - однообразны... по существу и отличаются одна от другой, должно быть, только упругостью и ритмом сокращений...

- Ох, это слишком мудро для меня! - сказала Татьяна Николаевна.- Не мне рассуждать и думать о героизме... а вот что между вами, Павел Иванович, и Сурковым, этим сущим декадентом, есть много общего - это я чувствую... Кстати, Варя, ты знаешь? Этот твой талантливый Владимир Ильич начал пить... да, да! Очень хорошо, не правда ли?

- Да, он пьет,- подтвердил Малинин.

Варвара Васильевна нахмурила брови и молча прошла по комнате.

- Странное время, странные люди! - задумчиво проговорил Малинин, глядя в окно. В саду тихо вздрагивала листва сирени, а на вершины старых лип и одинокого клена уже лег золотисто-красноватый отблеск заката.

- Мне как-то не жалко Владимира Ильича! - заговорила Варвара Васильевна.- Пьет? Ну, что же? И Кирмалов пьет...

- Ах, этот другое дело! - воскликнула Татьяна Николаевна.- Он совсем особенный... к нему даже идет, когда он выпивши... Он такой... пылающий...

Малинин оглянулся на женщин и засмеялся,

- Что вы смеетесь, Павел Иванович? - спросила Любимова.- Вино губит Кирмалова... да! Но он живет жизнью, которой... можно завидовать! Вы знаете, как его любят все эти его товарищи - певчие, рабочие, босяки? Он им поет, читает, нагоняет на них тоску, как он говорит... Они зовут его Егорий Головня, слушают его, тоскуют с ним, и когда, под его влиянием, их души возбуждаются,- приходит Филипп Николаевич...

- И приносит с собой универсальную микстуру для лечения всех болезней духа - курс политической экономии,- сказал Малинин.

Варвара Васильевна серьезно взглянула на него и продолжала:

- И придает возбуждению этих людей целесообразность, методически развивает их самосознание...

- Не говорите больше, Варвара Васильевна! - воскликнул .- Мне делается больно, когда я слышу такие речи из ваших уст. Вы, такая красивая, такая...

- Павел Иванович! - укоризненно сказала Любимова.

- Хорошо, я молчу... Я знаю, что, говоря о Кирмалове, вы думаете: "Но есть люди, которые не пьют, никого и ничему не учат, а все только спрашивают - зачем?" Да, такие люди есть. И, может быть, они действительно чужие жизни люди... никому не нужные... слабые... но - в них нет жестокости верующих.

Лицо Малинина дрогнуло и побледнело. Он торопливо, молча простился и вышел из комнаты. Варвара Васильевна ничего не сказала ему. Но Ляхова тотчас же воскликнула;

- Ой, Варя! Ты уж очень строго... Разве можно так?

- Татьяночка! Вы же сами предлагали ему подарить револьвер. И это вы назвали его чужим...

- Да неужели? Да, да! Ах, старая дура... Какая грубость...

Старушка заволновалась и, виноватыми глазами глядя на Любимову, стала спрашивать ее:

- Как же быть, Варя! Извиниться пред ним... Ах, господи...

Варвара Васильевна, сложив руки на груди, задумчиво ходила по комнате и молчала, нахмутив брови.

- Варя?

Мужик. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Я знаю Павла Ивановича вот уже четыре года... Всё это время я всеми силами старалась рассеять его унылое настроение... но не только не успела в этом, а вышло еще хуже... Он влюбился в меня... И эта теплая, бессильная любовь меня... обидела... Да, обидела. Для каждой женщины любовь без радости обидна... А он однажды сказал, что любовь к женщине - печальная обязанность мужчины... и в подтверждение этих слов начал мне толковать Шопенгауэра... Я не думаю, что есть женщина, которую не оскорбила бы любовь по рецепту философа... Не скрою... Павел Иванович нравился мне сначала... И если бы я *

-----* На этих словах машинопись обрывается.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!